
СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ РАССКАЗ

Михаил Смирнов
(г. Салават, Башкирия)

ДАЧНЫЙ СЕЗОН



Наш постоянный автор.

Петрович выбрался из трамвая на конечной остановке и закрутил головой в поисках знакомых, никого не заметив, махнул рукой и неторопливо пошел вдоль длинного заводского забора. С одной стороны высоченный забор, за которым мрачные цеха и оттуда постоянно доносился шум и грохот, а напротив забора, через дорогу начинаются дачные участки. Здесь, возле проходной, в основном получило заводское начальство. Все под рукой: работа, гаражи и дачи. Правда, между ними затесались простые работяги. Этих сразу отличишь по заборам. У начальства-то металлические, высокие или из кирпича выложили, а поверх колючую проволоку натянули, чтобы никто не залез, а рабочие строили из всего, что под руки попадало. У одних из штакетника, у других забор из разнокалиберных досок, а вот Иван Елисеевич умудрился сделать из старых дверей. Да-да... И где достал столько дверей, никому не говорит. Даже небольшую будочку из них смастерил, а потом обшил рейкой, и получилось довольно-таки симпатичный домик. Но больше всех удивил Кузьмич, который работал столяром или плотником — Петрович не помнил. Этот Кузьмич построил будку из обрезков древесины. Выписал двадцать или тридцать кубометров отходов, напилил, как кирпичи, все под один размер и выстроил будку, а остальной хлам к баньке перетаскал. Безотходное производство, так сказать. Все посмеивались, когда начинал строить. А когда отгрохал будку, да резные ставенки приладил, да крылечко резное, с других улиц на его теремок приходили полюбоваться. Особенно женщины приходили. Охали, ахали, а потом мужикам экскурсии устраивали и плешь проедали, чтобы такой же теремочек поставили, а может и получше. А Кузьмич сидел на крылечке и посмеивался, а сам думал, что еще эдакое смастерить. Правильно говорят, что голь на выдумки хитра...

— Петрович, меня подожди,— донесся голос и, оглянувшись, он увидел, как по дороге, торопливо перебирая коротковатыми ногами, шагает мужичок, с рюкзаком на плечах.— Здорово! С прошлого года не виделась.

— А, Володька, здорово, коль не шутишь,— приостановился Петрович.— Давно сезон открыл?

— Сегодня впервые пошел, а что? — догнал мужичок и сунул ладошку, здороваясь.— А ты когда открыл?

— Я уж раза три или четыре был,— нахмутив густые бровищи, сказал Петрович.— Еще по снегу приходил. Кое-как пролез. По крышу замело, заборов не было видно. В емкость снегу набросал, бочки набил...

— А, правду говорят, что опять по огородам лазили? — быстро перебирая коротковатыми ногами, сказал мужичок.— Егоровну встретил на прошлой неделе, она сказала, будто Мамай по участкам прошел. Все подчистую выгребли. Сволочи! — и заматюгался.

— Да, Вовка, почистили наши огороды,— завздыхал Петрович.— Каждый год налеты делают, а милиция ворон ловит. Под носом дачи, а они сидят и будто не видят, что здесь чужие машины мотаются. Все видят, но палец о палец не ударят, чтобы выйти и остановить. Ну, ты приподними задницу-то, шагни за порог, останови машину, да в кузов загляни и спроси, откуда вещички-то? И все, можно брать под белы ручки и в тюрьму его. Так нет, сидят и не шелохнутся, потому что им лишняя головная боль не нужна. Зато, как недавно говорили, случайно поймали какого-то алкашонка или бомжа, на него повесили все кражи и отправили в тюрьму. Наверное, бомж до сих пор радуется, что туда попал. Не надо башку ломать, где взять жратву, а в тюрьме накормят, напоят и спать уложат. Для него зона — это дом отдыха, по-другому не назовешь.

— Ага, твоя правда, что ворон считают,— вскинулся Володька, и подпрыгнул, поправляя тяжелый рюкзак.— Зато охрана умеет дачи начальников караулить. Ближе не подпустят, сразу подмогу вызывают и за оружие хватаются, а на простых работах им наплевать. Работнички, мать вашу так, так и еще разэтак! — и длинно, витиевато заматерился.

— Татьяна, привет! — приостановившись, Петрович громко крикнул женщине, которая граблями собирала мусор на участке.— Готовишься к посевной?

— А, ребятки, здрастье! — она разогнулась, держась за поясницу, и вытерла тыльной стороной ладони лоб.— Да, нужно убраться. Осенью, перед снегом прибралась, а сейчас пришла и будто ничего не делала. Весь участок в мусоре. Откуда принесло, не понимаю. Земле нужно кланяться, тогда урожай будет. Слышь, Петрович, нашего председателя не видел?

— А зачем тебе? — сказал Петрович.— Что случилось?

— Да узнать, когда воду станет давать,— опершись о черенок, сказала женщина.— А то получится, как позапрошлый год. Высадили, а поливать нечем. У многих половина урожая пропала. Да еще труба прохудилась. Пусть сварщика пришлет, чтобы заварил, а то всех соседей затоплю.

— Нет, Алешку не встречал,— покачал головой Петрович.— Наверное, работает. Может к вечеру появится. Ты поглядывай. Скажи, пусть к нам заглянет.

И неторопливо пошел по разбитой дороге.

— Ладно, скажу,— крикнула вслед женщина и опять склонилась, работая граблями.

Петрович опять остановился. Закрутил головой, прислушиваясь. Стал внимательно всматриваться в яблоньки, а потом ткнул пальцем.

— Слышь, Володь, как птички заливаются? — он стоял, улыбаясь.— Весна пришла. Радуются. Я несколько скворечников повесил. Наверное, скворушки заняли. А воробышки так и прыгают, так и прыгают...

Мужичок тоже остановился. Долго стоял, прислушиваясь, потом захекал, махая рукой.

— Скажешь тоже — птички,— он засмеялся.— Это же воробы! А воробей, как известно, не птица...

— Дурак, это курица — не птица, как говорят,— заворчал Петрович.— Воробей — это самая главная из птиц. Я уже не первый год подкармливаю их и заметил, что воробей — это единственная птичка, которая не станет в одиночестве кушать, а всегда позовет свою семью. Хоть крошку хлеба найдет, или пригоршню семечек. Все делят на всех. Людям нужно поучиться у них, как должен жить человек. А мы привыкли, что каждый за себя и для себя, и все на этом, а они последней крошкой делятся. А ты — воробей — не птица... Дурак набитый!

И постучал скрюченным пальцем по Володькиной голове.

— Сам дурак,— буркнул мужичок и, подпрыгнув, опять поправил тяжелый рюкзак.— Воробьи наглые. Помню, в детстве всегда били их из рогаток. Еще спорили, кто больше других собьет за день.

— Точно — дурак, да еще какой,— буркнул Петрович и, не удержавшись, шлепнул Володьку по затылку.— Вон, я где-то читал, что в Китае какой-то умник, наподобие тебя, решил вывести всех воробьев. Будто они весь урожай истребляют. Вывели... И что? Урожай сожрали всякие мошки-блошки-козявки-букашки. Китайцы чуть с голоду не перемерли. Ага, исхудали, кожа да кости остались... И тогда, чтобы спасти урожай и истребить насекомых, им пришлось покупать воробьев в других странах. Представь, сколько пришлось вкладывать труда и денег, чтобы уничтожить птиц, а еще больше потратили, когда закупали и опять разводили. Вот и получается, что воробей — это самая главная и ценная птица на планете. А ты — рогатка! Руки бы обломать вам, когда стреляли, а рогатку сунуть в одно место, чтобы пристесть не могли...

Они шли по дороге, переругиваясь. Иногда останавливались, отдыхали, и снова шагали по краю разбитой дороги. Оборачиваясь, Петрович видел, как изредка по дороге мелькали такие же дачники, как они. Правда, были и такие, кто мчался на машинах. Ехали одни, никого с собой не брали. Не останавливались, когда встречались старушки или старики. Проезжали, словно не замечали. А другие, наоборот, сами притормаживали, звали подвезти и тогда дачники садились в машину и облегченно вздыхали — все не пешком в гору подниматься.

Добравшись до поворота, Петрович опять устроил перекур. Стоял, поглядывая на высокий забор, а через дорогу чернело поле. Огромное. Вдали темнела лесополоса, а еще подальше тонкой ниткой тянулась дорога и исчезала за горизонтом. Вдохнув, он посмотрел на подъем. С каждым годом все тяжелее и тяжелее добираться до огорода. А раньше бывало...

— Володька, помнишь, как участки получили? — сказал он и кивнул на едва заметные сады на склоне горы.— Ух, как мы радовались!

— Ага,— закивал головой мужичок.— Я несколько лет простоял в очереди.

— А я тоже стоял, потом смотрю, многие, кто после меня был, уже получили, а я все жду,— задумавшись, сказал Петрович.— Пошел к начальству. Говорю, что за ерунда? Другие получили, а я с места не сдвинулся. В общем, сильно поругался. Даже матюги пускал. А после обеда подходит ко мне наш профсоюз и сует бумажку, где был написан номер участка. Не поверишь, чуть не заплясал. Жене сказал. Помчались смотреть. Кое-как нашли. Стоим посредине участка и радуемся — наша земля, наша! Глядим, там знакомые, и вон там стоят, и тут уже костер развели и чайник поставили, а эти бросили куртку на землю, уселись и пускают стакан по кругу — землю обмывают, чтобы на ней все росло-плодоносило. Считай, многие с завода получили. И почти все знакомые. Так и начали потихонечку строиться и обживать...

— Да, что ни говори, а раньше было лучше, чем сейчас,— вздохнул Володька.— Люди другими были, проще, что ли... Мы снаружи поставили забор, а внутри не стали размечать. Посадили смородину и все — это весь забор между соседями. Они зай-

дут к нам, мы заглянем. Посидим, поболтаем. Бывало, пузырек раздавим на праздник. А вот наши нижние соседи быстро построились. Кирпич навезли, плиты. Домик поставили. Потом баньку сделали. И каждый выходной парились. Да еще гости приезжали. Мы между грядок ползаем, каждый сорнячок выдираем, а они напарятся, потом устроят застолье, глядишь, к вечеру все на бровях ползают, и бабы — тоже. О, жизнь! Для кого-то участок — средство для выживания, для поддержки штанов, а для других, чтобы на природе отдохнуть да водки нажраться...

И, правда, кто-то приезжал, чтобы отдохнуть на даче, а многие добирались, чтобы весь сезон пропахать на участке, тогда зимой будут соленья-варенья на столе, а это очень хорошее подспорье, как к зарплате, так и к пенсии. А были такие, кто на продаже участков зарабатывал деньги. Они умудрялись достать сразу несколько участков. Ставили жиденькие реденькие заборы, туалеты, похожие на скворечники, а потом продавали почти готовую дачу, как они называли. И в те времена люди покупали! Потому что не хватало этих садов-огородов, и желающие всегда находились. На рынке не накупишься, там втридорога дерут. Зарплаты такие, что плакать хочется, а уж про пенсии и говорить нечего. Чтобы чинушам до конца дней своих жить на такие деньги, что старикам начисляют. Сволочи! Вот старикам и приходится выживать, копаясь на своих грядках, а без садов и огородов давно бы повымирили. Не у всех же есть дети, кто может помочь...

Петрович взглянул на склон горы. Ужас, сколько участков побросали! А почему? Да потому что некому стало работать на них. Раньше, когда он был моложе, многие ездили с детьми. Сами работали на земле, а ребятишки в песке возились или по проулкам бегали, все в прятки да в войнушку играли. Но, подрастая, детям скучно стало возиться на участках, да и времени не было. Школа, уроки, да еще с друзьями нужно встретиться и куда-нибудь сходить. В общем, молодежь слишком занята, чтобы тратить время на дачу. Это родителям нечего делать, вот они и возятся в земле... Петрович вздохнул, приложил ладонь и взглянул вдаль. Вон виднеется здоровенный особняк за забором. Не дом, а картинка. На участке все, что душе угодно. Почти каждый вечер оттуда шум и гам доносились. Вереница машин стояла, гости туда-сюда сновали, а потом хозяина не стало и дача никому не нужна. Жена не работала. Все на травке отдыхала или за столиком в беседке сидела, чай да кофе распивала, а дети раньше-то не приезжали, а теперь тем более не станут. Вот и стояла дача, никому не нужная. И никто не покупал — дорого. А весной добрался по сугробам, глядь, с особняка все железо воры снимали. Раньше дорого было, а теперь вообще никто не купит.

А вот там, неподалеку от водокачки, много лет пустует недостроенная дача. Мужик надрывался, хоромы намеревался поставить, чуть ли не на половину участка. Для детей старался. Говорил, поставит родовое гнездо и отдаст ребятам. Ага, поставил... Мужика прямо на участке парализовало. В больнице помер. И оказалось, что его родовое гнездо никому не нужно. Зачем на земле пахать, когда все овощи и фрукты можно купить на рынке. Вот молодежь и отказывается от всего, что им родители готовили, жилы рвали, надрывались. Плевали они...

— Володька, зараза такая, когда мою лопату отдашь? — донесся резкий протяжный голос.— Как взял по осени на минуточку, так до сей поры не отдаешь,— и ехидно так.— Видать, лопатка привыкла к новому хозяину, да, Вовка?

— Да отдам я, отдам,— заворчал Володька, то и дело поправляя рюкзак.— Забыл. Ей-Богу! Осенью приткнул в уголок за дверь, будку закрыл и уехал. Если бы ты, дед Митрич, не напомнил, я бы даже не вспомнил.

— Вот и давай таким оглоедам,— из-за забора выглянул старик в фуражке, в старой телогрейке и вытер вспотевшее лицо.— Здорово, Петрович! Говорят, по вашей улице жулики прошлись. Много забрали?

И с любопытством уставился на Петровича.

— Как сказать, дед Трофим...— Петрович поставил сумку на землю.— И украли много, а напакостили еще больше. У нас почти каждый год воруют. Сволочи, знают, что никто не станет искать, вот и пользуются этим. Я взял и вкопал емкость и бочки в землю. Глубоко опустил, чтобы не выдернули. Они же что стали делать... За машину цепляют и выворачивают, а потом грузят и поминай, как звали. В будку залезли. Ничего не нашли. Взяли, все поразбросали, стекла повыбивали и рамы сломали, хотя сами в дверь зашли. Я же на зиму не стал закрывать будку. Пусть заходят. Все ценное давно вывез оттуда. А они, сволочи, если ничего нет, значит, напакостим... Эх, люди-людишки, сволочи — воришки!

И махнул рукой.

— А вот у Ермохиных, что через проулок,— старик кивнул, показывая.— Ты знаешь их, Петрович. Сколько дачу держат, столько лет и строят. А сейчас, как на пенсию вышли, так и живут участком. Вот к ним залезли. Вывезли все, что можно было. Даже столбы украли. Как? Да очень просто! Видать, заранее присмотрели. Воду залили в трубы и оставили. Земля стала мягкая. Ночью подъехали, зацепили и выдернули. Один штaketник валяется. А у стариков ни детей, ни родственников. Где они возьмут деньги, чтобы новый забор поставить? Скорее всего, воры знали, что здесь старики обитают. И у них украли. Гады последние! Как только этих тварей земля держит...

И старик принялся материться: сильно, громко и обиженно.

— Ладно, у нас только металл воруют,— Володька закурил и махнул рукой.— А вот у моего брата дача на берегу речки. Да какая дача — одно название. Ключок земли, будочка в углу и все на этом. Так у них не только металл крадут. Как весна наступает, туда, на берег речки, бомжи перебираются и почти каждый день рыбаки бьются. Не успеют посадить, не успеет проклонуться, а эти шакалы уже лезут на участок. Выдирают все, что можно сожрать или продать.

— А мне жена рассказывала,— к ним подошел еще один дачник: в подвернутых штанах, в рубашке нараспашку и женской шляпе с веселеньким бантиком на боку.— Говорит, у них на работе мужик есть. Осенью собрался картошку копать. Приезжает. Глядь издали, кто-то на участке мелькает. Подходит, а там несколько здоровенных парней картошку выкапывают. Он испугался. Если скажет, что хозяин, могут голову оторвать, тут же закопают, и никто не найдет. Он постоял, посмотрел, а потом сказал, мол, мужики, а мне можно с вами покопать? Чутьочку для себя набрать, а? Они смеются. Говорят, заходи, все равно чужое. Вот сколько мужик успел выкопать — это для него оставили, а остальное загрузили в машину и увезли. Вот и сажай для чужих...

— Не говори, сосед... Все они: сволочи, гады, твари последние, потому что последние крохи у людей забирают,— сказал дед Трофим.— Я говорю сыну, давай капкан поставим, враз отучим лазить, а он отвечает, не дай Бог, если вор попадет в капкан, сразу тебя посадят. Лет пять дадут за посягательство на жизнь и отправят кедры окучивать в тайгу, вот так прямо и сказал. А какое покушение, если я свое защитить хочу? Да уж, законы...

И старик задумался, навалившись на забор и, поглядывая на соседей.

— Вот оно — наше правосудие,— вздернув брови, сказал Володька.— Вора поймаешь в капкан, за это срок наматывают. Что же получается, братцы? Получается, что у воров полная свобода действий, так сказать. Тащи все подряд. И ташат! Машинами воруют, а их словно не замечают. Странно...

— Правильно говоришь, Вовка, но самое интересное, если разложить по полочкам, что приезжают воровать не бомжи, а люди с машинами,— кивнув, сказал Пет-

рович.— Люди, которые уже все просчитали на много шагов вперед. А вот так! Они мотаются, все высматривают и высчитывают, а может им говорят, когда и куда нужно нагряться, и потом в один прекрасный день приезжают на машинах да еще кран с собой тащат. А вы подумайте, как они огромную емкость могут погрузить на машину. Ее вдесятером с места не сдвинешь — пупок надорвешь, а они грузят. Это можно краном поднять и никак иначе. И считайте, сколько техники привлекается для воровства. Машины, на которых воры приезжают, машины, на которые грузят и еще кран пригоняют. И воруют не с одного участка, а сразу несколько улиц грабят. Спокойно воруют, не боятся, что поймают. А почему не боятся? Сами думайте... А потом еще металл сдать нужно. Тоже подумайте, как они груженные всяким железом проезжают по дорогам, а потом сдают в пунктах приема, где сразу же видно, что это ворованное, но никто не интересуется, где взяли. И сами приемщики не боятся, когда берут украденный металл. Кто объяснит, почему так происходит? Ага, молчите! Вот и я не могу найти ответ на этот, казалось бы, легкий вопрос. Хотя, если поглубже копнуть, есть догадки, есть...

Петрович поморщился, махнул рукой, поднял сумку и стал подниматься в гору. Володька подхватил рюкзак и засеменил за ним, стараясь догнать.

— Слышь, Петрович,— крикнул Володька.— Что хочу спросить... А что ты свою дачу не бросаешь, а? Говоришь, что воруют, а самого не выгонишь с дачи. Ты глянь, сколько участков пустует. Умные люди давно на диванах лежат и в потолок плюют, а ты каждый год мотаешься, с утра и до ночи пашешь на участке, а урожаем с гулькин нос собираешь, потому что все, или почти все украли. Глянь, сколько побросали...

И Вовка ткнул пальцем, показывая на склон горы.

По склону горы, там и сям были видны заросшие квадраты... Даже не квадраты, а словно неведомая болезнь расплзлась по дачкам. Где люди ухаживали, там участки чистенькие видны, а на остальные взглянуть страшно. Хозяин оставляет участок и земля начинает умирать... Нет, не сама земля умирает, а участок заповоляют сорняки, кустарник разрастается, яблоньки дичают и все оплетает вьюнок, словно паутиной... Пройдет несколько лет и вместо дачного участка появляется зеленое пятно. И таких пятен становится все больше и больше. Точно неизвестная болезнь захватывает землю, вытесняя оттуда людей, а может, наоборот — это не хвороба, а природа возвращается, залечивая раны, что люди нанесли. И многие люди не в силах бороться с природой, и с теми бедами, что сваливаются на них, не выдерживают трудностей и отступают. И бросают свои дачи. А потом появляются бомжи, которые уносят все, что можно продать, которые будут собирать урожаи и тащить на рынки, к магазинам и отдавать за копейки. А когда уже нечего будет собирать, бомжи и воры забросят участки и переберутся на другие, где еще можно пожить, а оставленные участки начнут умирать, покрываясь сплошным ковром сорняков. Люди, занимая земли, несут за собой всякий мусор, и туда перебираются сорняки, потому что, где живет человек, там всегда растут сорные травы, а когда люди бросают участки, крапива и репейник заповоляют, всю землю захватывают. Может, когда-нибудь, весь склон покроется зеленым ковром. Значит, дачники проиграли. И непонятно, кому проиграли: вора, бомжам или природе. Скорее всего, что вора и бомжам, а природа просто лечит свои раны. Все может быть...

— Говоришь, почему не бросаю дачу...— задумавшись, сказал Петрович.— Знаешь, Вовка, скучно дома сидеть. Много раз хотел бросить все к едрене фене, даже манатки собирал, а потом зиму посижу, подумаю и опять тащусь на дачу.

— А я сразу брошу, как на пенсию пойду,— подпрыгнув, поправляя рюкзак, скороговоркой сказал Володька и провел ладонью по горлу.— Вот так осточертело! Глаза бы не смотрели на эту дачу. Правда! На работе вымотаешься, на участок придешь,

к вечеру так ухайдакаешься, что не знаешь, дойдешь до дома или где-нить свалишься. Пашешь, пашешь, как папа Карло, а воры придут, урожай соберут и оставят тебя с носом. Вот и получается, что выращиваем для дяди чужого, а не для себя. А ты, Петрович, подсчитай, сколько денег тратим на всякие семена, на воду и землю, а сколько на дорогу улетает — это ужас! Знаешь, лучше лежать на диване и в потолок поплевывать, а захочу огурчики или помидорчики, на рынке куплю, все дешевле, чем самому выращивать. От пуза нажрись и опять на диван завалюсь. Эх, красотища!

И снова подпрыгнул, поправляя рюкзак.

— Дурак ты, Вовка,— буркнул Петрович, покосившись на невзрачного мужичка.— Дело не в том, что работаешь до упада, не в том, что половину урожая своруют или калитку с бочками утащат. Понимаешь, Володь, на диване ты быстро загнешься. Да... Долго не протянешь — это факт. А здесь тебе и разминка, и свежий воздух, и овощи свеженькие, прямо с грядки, и смородинка поспевает, и яблочки наливаются, но главное — это тишина, которая заставляет думать, размышлять о жизни, а глянь, какая природа вокруг, птички поют, вон, прислушайся, как заливаются, а какое общение с соседями и знакомыми, а если еще при этом по полосочке опрокинуть... Вообще, красотища!

И Петрович, покачивая головой, причмокнул.

— Красиво говоришь, а вот по полосочке хлопнуть — это хорошо, но где взять? — не удержался, тоже причмокнул Володька и оглянулся.— Я бы сейчас не отказался начало сезона отметить. Полный рюкзак тащу, все положил, а пузырек забыл сунуть. Придется на сухую...

— Вот видишь, я прав оказался, что пора сезон открывать,— сказал Петрович и похлопал по карману.— Нет, что говоришь-то... Не сезон, чтобы пьянствовать, а дачный сезон откроем, чтобы все у нас росло, цвело и пахло, а осенью урожай соберем, дай Бог, целехонький. Да, так и должно быть, как сказал... Ладно, Вовка, угощу тебя, горемычного,— он хохотнул.— Пошли, Володь, у меня посидим. По рюмашке опрокинем, по душам потолкуем. Глядишь, кто-нибудь еще на огонек заглянет. Все веселее будет. За жизнь поговорим. Считай, с осени не виделись. Много воды утекло, когда последний раз встречались. Поговорим, а потом примемся за работу. Заждалась земля, истосковалась. И мы соскучились. Да вот... И будем до тех пор ходить на участок, куда нас вперед ногами не вынесут с него. А вон, глянь, Николай Матвеич с нашими мужичками идет,— и крикнул.— Эй, Матвеич, зайди ко мне! И ребят прихвати. Да посидим, за жизнь покалякаем, обо всем посоветуемся, а потом за работу возьмемся. Соскучились за зиму. А сезон закончится, дружно скажем, слава Богу, отмучились, но сами всю зиму будем сидеть и ждать, когда весна наступит. А весна придет, снова пойдем на дачу и будем радоваться, что наконец-то дожили до нового сезона. Вот так-то, Вовка! Все, добрались. Заходи в гости...

И, подталкивая соседа, Петрович распахнул калитку и заторопился к будке.

Весна. Дачный сезон начинается...



Алексей Яшин
(г. Тула)

ОТГОЛОСКИ ЛЕНД-ЛИЗА

*К 120-летию Города воинской славы Полярного и
к 105-летию начала практики ленд-лиза в миро-
вых войнах*



Фото А. Ямаи. Комплект открыток «Полярный — колыбель Северного флота» ©

*Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет!
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.*

«Прощайте, скалистые горы»
(сл. Н. Букина, муз. Е. Жарковского)

◆ Старинные знакомцы еще по инженерной работе в прославленном ракетно-пушечном Конструкторском бюро академика Гусакова, а ныне «ученые мужи» Тулуповского университета Николай Андреевич, доцент с военно-инженерного факультета, и заслуженный профессор-биофизик Игорь Васильевич Скородумов* еще с утра созвонились встретиться пополудни на «нейтральной» территории. А иначе нельзя: Игоря Васильевича суровые охранники «пентагона» с режимной пропускной системой не пропустят к приятелю. Обратный визит Николая Андреевича на биофак осложнен еще более: заслуженность и многоостепененность профессора, вкупе с вольнолюбивым характером и сатирическим складом ума, нажили ему массу завистников и доносчиков, каковые качества суть врожденные у профессиональных «преподов». Вот вошел Николай Андреевич к приятелю, тот дверь кабинета на ключ... и не успел гостевую бутылочку коньяка из заветного шкафчика достать, а преподши

* Наши постоянные персонажи, см.: Алексей Яшин. Задушевные беседы об умозамещении (восьмая книга рассказов Николая Андреевича): Роман-новеллино / Предисл. Л. В. Ханбекова: Академия российской литературы.— М.: «Московский Парнас», 2017.— 343 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).— В электронной форме см. на сайте www.pz.tula.ru

уже по всем инстанциям названивают: дескать, Скородумов опять нарушает «корпоративную этику университета»!

...К дьяволу их всех, лучше в рюмочной «Наливай-ка!» — со столиками, дерматиновыми полукреслицами и даже Тонечкой-официанткой. И еще: рюмочная ближе к середине пути между биофаком и «пентагоном», расположенными в крайних пунктах огромного университетского городка,— своего рода демаркационная линия. Поди как удобно и равноправно по пешему ходу для встречи!

— За что по первой, Васильич?

— Понятно — за совсем недавнее столетие комсомола. Будем здоровы!

Нащупывая тему сегодняшней беседы, отметили затянувшуюся до третьей декады ноября холодную осень, затем по русской привычке перешли к высокой политике, в частности, к новейшим веяниям и практике увеличения возраста доступа к табаку, алкоголю и пенсиям... Здесь спохватились, припомнив, что в доме повешенного о веревке не говорят, хотя оба успели еще по прежнему «тарифу» оформить свой пенсион, и наконец-то уловили тему. Николай Андреевич краем уха расслышал, как за соседним столиком молодые доценты с располагавшейся почти напротив «Наливайки» в довоенной еще постройке учебного корпуса кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства, что-то свое отмечающие, так и сыпят названиями импортных марок. Явно по старинному нашему принципу: на работе о бабах, после работы — о ней самой. Слова «дожд» и «студебеккер» по запутанным законам психологии мышления человека вызвали у Николая Андреевича, крайне далекого от увлечения автомобилями и частнособственнического инстинкта, странную ассоциативную связь.

— А знаешь, Васильич, ведь в следующем, уже не столь далеком, году некруглая, но знаменательная историческая дата: столетие начала практики ленд-лиза в мировых войнах. И в обоих она напрямую коснулась России, а потом СССР...

— С Великой Отечественной все понятно. Из школьной истории помним, да от отцов наших — ветеранов войны при их жизни слышали: свиная тушенка «второй фронт», кстати говоря, аргентинская, а не американская, грузовики «доджи», орудейные тягачи «студебеккеры», обилие вертких открытых джипов «виллис», ну-у, английские самолеты «аэрокобра». Но насчет Первой мировой, она же Империалистическая, как-то не на слуху особо...

— Во-во, именно не на слуху. Что ж поделаешь, и у нашего советского, замечательного в основе, образования имелись досадные изъяны. Особенно в историческом плане, ибо история есть идеологическая дисциплина. Как сейчас Европа, особенно бывшие наши «братушки» по соцлагерю, начисто стирает у своих сограждан память о разгроме Советским Союзом Третьего рейха с его союзниками и сателлитами — в основном, теми же «братушками», но тогда еще не нашими, а гитлеровскими, так и в СССР гнобили «империалистическую», только и поминая ее как движитель предреволуционной ситуации.

— Но в общем-то правильно ее советская история оценивала. У России с кайзеровской Германией, тем более с Австро-Венгрией, накануне первой мировой войны никаких взаимных притязаний не имелось. *Drang nach Osten* у немчуры еще умный Бисмарк, создатель империи, пресек, завещав никогда не воевать с русскими. В ту же Россию излишек германского населения еще со времен царицы Екатерины мирно перетекал квалифицированными, трудолюбивыми новыми подданными. К обоюдному интересу России и Германии. Опять же империя кайзера Вильгельма Второго сумела отхватить свою запоздалую долю африканских колоний; они также требовали обустройства и достаточного числа немецкого населения. То есть правильно, не в бровь, но в глаз, в советских учебниках истории без обиняков писали: Антанта «втемную», говоря современным приклатненным языком, использовала Россию в качестве пушечного мяса, в смертельной схватке сойдясь с молодым германским им-

периалистическим хищником. Такому вовлечению России в мировую бойню, совершенно ей ненужную, способствовали первоочередно факторы: абсолютная глупость царя и его окружения, опыт всемирной интригантки-«англичанки» и капкан, в который Россию зашелкнули долгами французскому Ротшильду, спровоцировав русско-японскую войну. Извини, дружище, что прописные истины напоминаю...

— Напротив, герр профессор, кратко и аргументировано для зачина. Ведь и СССР во Вторую мировую втащила та же «англичанка» с подчиненной ей Антантой, но в другом обличье: вместо упавшей на колени перед фюрером Франции — мощная Америка. Сталин до последней минуты противился такому втягиванию. Понимая, что мудрого Вождя никаким боком не взять на жертвенные вилы, «англичанка» пошла другим путем: подтолкнула в чем-то тоже умного, но в сущности невзрачного фюрера к войне... и заодно к своей могиле.

— Так как с ленд-лизом в Первую мировую, а, Андреяныч? Давай ближе к теме, водка-то стынет!

◆ — Я так полагаю, дорогой мой профессор, что поставки в Россию Антантой в первую войну, а во вторую американцами, отчасти Англией с ее доминионами, стратегических материалов и продовольствия, того же «второго фронта» и сахара, было не неким добротством, как наши либералы всех времен верещат, но весьма умеренной платой за столкновение Российской империи, а потом Советского Союза лбами с немчурой. Не некая «совестливость», которая у империалистов по определению напрочь отсутствует, но сугубо свой интерес: ваши солдаты гибнут в итоге за наши, Антанты, потом США и Англии, интересы. В соответствующих документах о поставках на юридическом языке это и не скрывалось. Как-то в начале двухтысячных попала мне в руки свежеезданная — в русском переводе — книга «Ленд-лиз — оружие победы» пера Эдварда Стеттиниуса, что являлся во Вторую мировую начальником американского Управления по соблюдению закона о ленд-лизе. Так сказать, «от первого лица». В качестве же приложения — собственно текст так называемого «Большого договора о ленд-лизе» между США и СССР, в котором прямо значится: все поставки имеют целью способствовать безопасности Соединенных Штатов. И никакой лирики и прочих благоглупостей!

В Первую же мировую, насколько знаю, сам термин «ленд-лиз» еще не употреблялся, но суть поставок России все та же: отвлекайте на себя Австро-Венгрию, а на северо-западном участке Восточного фронта и собственно тевтонов, а мы вам из британской метрополии и доминионов, из Америки караванами через Архангельск оружие, боеприпасы, мотоциклы для подразделений «самокатчиков», паровозы и рельсы, стальной прокат. В ту войну, когда кроме западных частей Польши и Прибалтики, собственно на русскую землю нога врага не ступала, продовольствия хватало своего. Впрочем, и всего остального. Вот и в нашем городе стахановскими темпами за год с небольшим построили завод по массовому изготовлению пулеметов «максим», коими и обеспечивали «без дефицита» русскую, а потом и Красную армию до самой Великой Отечественной. Смех и грех: за время «империалистической» для армии русские обувные фабрики поставили... 80 миллионов пар добротных кожаных солдатских сапог! Но до «позиций» даже четверти от них не дошло: новобранцы на остановках эшелонов меняли их на самогон (в стране сухой закон!) и табак. Матерясь, интенданты вновь обували разутых ребятушек-солдатушек, а на следующей станции все повторялось. В итоге к окончанию войны все мужское население России щеголяло в несносимой солдатской обувке.

...Но все же поставки шли, причем взаимные. Из России не только сырье вывозили. Те же противогазы Зелинского для солдат Антанты поставляла Россия, очень быстро прореагировавшая на немецкий иприт и фосген: опять же за кратчайший срок

построили целую сотню (!?) заводов производства химоружия; запасов хватило впоследствии не только Тухачевскому для потравы тамбовских мужиков, но и для вооружения Красной армии... И еще Николка-царь, мол, у нас мужиков много, да бабы еще нарожают, удумал для «поднятия боевого духа» союзников послать им в подмогу две дивизии: одну во Францию, другую на Балканы, на тамошний фронт против австрияков и турок в помощь грекам. Здесь, Васильич, и я по родственной линии оказался причастен: дед мой Андрей Третьяков по материнской линии, из архангельских крестьян, призвался в «французскую» дивизию, угодившую под самую верденскую мясорубку. Контуженного и травленного газами доставили в Архангельск с караваном судов тогдашнего «ленд-лиза». Всего неполный год и прожил, не дождался рождения моей матери...

— И что, разве только через Архангельск эти взаимные поставки шли?

— Да нет, генералы в императорском генштабе, в отличии от царя с его камарильей и «всемируководящей» царицы-немки Александры Федоровны, отличались сообразительностью, помнили: Белое море замерзающее, поэтому к шестнадцатому году за восемь месяцев проложили через карельскую тайгу и кольские Хибинские горы железную дорогу от Петрограда до одновременно с этим обустроенного города-порта Романов-на-Мурмане, ныне Мурманска. Из коих мест с незамерзающими по причине Гольфстрима Баренцевым морем, как тебе известно, твой покорный слуга родом и заполярным военно-морским воспитанием.

— Как менее чем за год? Это же почти полторы тысячи километров, да по тайге, по горам, а между Петрозаводском и столицей империи — сплошь озерный край! Географию школьную хорошо помню.

— Я же говорю: наш славный Стаханов не первым в русской истории одиннадцать норм за смену выдавал... Что бы не говорили — впрочем, при разных властях разное — об отсталой России, ее якобы полной неготовности к войне, но ведь кроме, мягко говоря, недалёковидного царя с немкой-царицей, туповатыми великими князьями, всякой придворной распутищиной имелся работающий генштаб и очень расторопное управление тыла! Причем, если Брусилову, в определенном смысле повторившему суворовский переход через Альпы — здесь Карпаты, — так и не дали развить успех прорыва и занять Венгерскую равнину, как и Суворову союзники-австрияки воспрепятствовали с барабанным боем проследовать на Париж, то интендантство и управление тыла все порученное ему в войну выполнило в самые ограниченные сроки...

◆ — Перебью, Андреяныч. В памяти из школьной истории: вроде как строительство мурманской дороги связано с единственным за всю «империалистическую» историю восстанием в российской Средней Азии?

— Память тебя, Васильич, не обманывает. Поскольку «чугунку» к Кольскому заливу требовалось проложить в кратчайшие сроки, то работы велись не последовательно «верста за верстой», а сразу по всей означенной геодезистами трассе. Требовалась целая трудармия, а собственно в России свободных рук не оставалось: кто в окопах, а другие за плугом, у станков и так далее. Тогда-то впервые появился военный стройбат, тем более, что этих-то рук имелось предостаточно на национальных окраинах. По законам империи призыву на любую воинскую службу не подлежали подданные мусульманского вероисповедания, не очень-то давно вошедшие в состав России. Только татары и башкиры, уже за четыре сотни лет живущие вместе с русскими, такой привилегии не имели: вспомни «Поединок» Куприна. Поэтому-то желавших воевать из кавказских мусульман брали в армию только добровольцами — вошедшая в историю «Дикая дивизия» под командованием великого князя Михаила, брата царя...

— А вот это я прекрасно знаю: в отличии от тебя, Андреяныч, я в детстве застал своего деда, солдата-окопника на румынском фронте... в смысле, что Румыния в вой-

ну на стороне Антанты вступила, да тотчас под натиском мажарских гусар покати-лась к Бухаресту. Пришлось русским дивизиям их фронт держать. Вот дед и расска-зывал: влетает в окопы взводный поручик и командует: «Все оземь, пригнись! Сей-час казаки и «дикари» в прорыв пойдут!» Прилегли мы, Игореха, смотрим со сна окопа в небушко, а тут через нас орда перескакивает: донцы с генеральскими лампа-сами на шароварах, с пиками, с матом почище матросского, а за ними «дикари», кто в черкесах, кто в халатах полосатых — с визгом, гортанными воплями, шашками кри-выми машут. А мы вослед им, промчавшимся, выглядываем из окопов: на что уж мажарские конники мужики стойкие, но и они перед ордой хвостами лошадиными замахали. Извиняюсь, Андреяныч, перебил тебя, продолжай, пожалуйста.

— Словом, велели из Петрограда туркестанскому воинскому начальству забрить в стройбат и отправить на «мурманку» за два десятка тысяч киргиз-кайсаков и других племен среднеазиатских, кто наиболее приспособлен к землекопным и строительным работам. Отсюда и тот единственный за всю войну бунт. Самое паскудное, историки склоняются к тому, что восстание-то инспирировала ... все та же «англичанка»? Зна-чит, одной рукой помощь России, а другой — извечное ей противодействие в Сред-ней Азии, как преддверию к «жемчужине британской короны». Помнила крепко «англичанка», как император Павел ее напугал, двинув на Индию сорок тысяч каза-ков с песней: «Индя, Индея, голубая Индея, будешь нашей Индея!» — за что и при-нял в дворцовом перевороте, организованном Англией исподволь, свою преждевре-менную кончину Павел Петрович...

...Восстание быстро подавили, а мурманскую дорогу в отведенный срок построи-ли. В планах значилась и ветка ее до моей исторической родины Полярного, тогда Александровска, основанного в последний год девятнадцатого века в качестве глав-ной базы Флотилии Ледовитого океана с флагманом — героическим «Варягом», вы-купленным царем у японцев, но революция имела много других забот.

Таким вот был первый ленд-лиз, Васильич: северный, мурманско-архангельский. Сравнительно безопасный: немцы тогда не имели баз в норвежских фиордах и ги-гантского подводного флота* Третьего рейха, не говоря уже об авиации.

— Про второй, уже с этим именем, ленд-лиз, Андреяныч, можно и не говорить. Ведь мы с тобой на свет этот появились, застав еще Иосифа Виссарионовича. Так что даже в сознательной жизни, не говоря о детстве — отрочестве — юности, были ок-ружены сплошь ветеранами войны, которые восполняли в своих воспоминаниях, так сказать, «политкорректность» и идеологический, впрочем, верный, «уклон» нашего школьного и иного образования. Как помнишь, официально признанной полагалась цифра в четыре процента, как вклад ленд-лизовских поставок в общее военно-промышленное, сельскохозяйственное и всякое иное производство Советского Союза за годы Великой Отечественной. Но и это вовсе не умаляет вклад союзников, учиты-вая грандиозность затрат, поддержание и неуклонный рост нашего потенциала к окончанию войны. В архилиберальные и оголтело антисоветские «лихие девяно-стые», подмахивая, выражаясь по-солженицынски, Западу, наши «историки»-пиар-щики эти четыре процента раздули аж за сто! Хотя и математик по одному из своих образований, но как-то не в силах сообразить. И общий их вывод в подметных «исто-рических сочинениях»: без ленд-лиза Советский Союз даже не то чтобы выиграл войну, но фюрер лично промаршировал по Красной площади в строгом соответствии с почасовым расписанием в плане Барбароссы... Даже, сукины дети, поленились даты заучить: в первый, самый трудный год войны ленд-лиз только начал набирать оборо-ты, так что страна обходилась сугубо собственными ресурсами.

* За годы Второй мировой войны с германских стапелей была спущена тысяча (!) подлодок, а к окончанию ее в Европе и вовсе каждые сутки вступала в строй новая *U-bote*, по оценке военных специали-стов — лучшая подлодка того времени...

Нынешние же военные историки, приноровившись к иным указаниям власти, тотчас внесли поправку в свои размышления о ленд-лизе, не менее четырех процентов вклада и не более восьми-десяти. Кстати, упомянутый тобою Стеттиниус с чисто американских позиций какой цифры придерживается?

— Да почти такой же, умеренной.

— Ну и ладненько, как говорится, вашим и нашим. Но если в Первую мировую взаимные поставки велись только морским путем через Архангельск, а с шестнадцатого года и через Мурманск, то в Великую Отечественную, как сам прекрасно знаешь, по трем путям: двум морским, северным и тихоокеанским, и сухопутным — из Персидского залива железной дорогой через Иран, оккупированный еще в сороковом году советскими и британскими войсками. Последний, как полагаю, самый безопасный. Поэтому все габаритные грузы, те же паровозы, «доджи», «студебекеры» и «виллисы», напрямую катились по персидской пустыне до рокадной железной дороги уже на советской территории, кстати, построенной из уже готовых плетей рельсов со шпалами, снятыми с первого сталинского БАМ'а... А далее по Турксибу и через Каспий по назначению.

— Васильич, но самым оптимальным, говоря языком *твоей* математики, путем был тихоокеанский. Не зря же, как утверждают нынешние, внезапно поумневшие, военные историки, именно через него половина всех поставок была осуществлена. Вторую же половину поделили равно Север и Иран...

— Одного не возьму в толк: а Япония с ее «вооруженным нейтралитетом», а ихние тогда Курилы, закупорившие вход в Охотское море? Ладно истребители по воздуху из аляскинского Анкориджа на Чукотку перегоняли. Через Петропавловск-Камчатку «переваливали» на другой берег и уже в наше Охотское море... Как говорится, на перекладных и половина всего огромного по объему ленд-лиза? Что-то здесь не так.

— Так тихоокеанский путь начался во все увеличивающемся масштабе после Перл-Харбора, с сорок второго года, когда уже не в советском генштабе утро начиналось в ожидании сообщения о нападении самураев на СССР, но япошки своим синтоистским божкам в душе молились, чтобы русский сосед воевал бы себе с Германией, а о них до поры до времени забыл, прекрасно понимая: Япония не та страна, чтобы вести войну на два фронта, да еще Китай с мощью генералиссимуса Чан Кай Ши и северной армией Мао Цзе Дуна... Потому и терпели прямые рейсы ленд-лизовских «либерти», правда, под советским флагом, по линии Сиэтл — Владивосток. Деваться-то некуда!

Но самым коротким, в то же время сверхопасным, был северный путь. И здесь мне есть что рассказать...

— Конечно, расскажешь. Я уже предвкушаю почти что от «очевидца» услышать!

— Напрасно иронизируешь, Васильич. Я как раз и есть очевидец... только не самого ленд-лиза, но его прямых *отголосков*.

♦ Заканчивалась последняя предшкольная, вольная весна Николки, маленького жителя маячного островка Седловатый*, что приткнулся к левому берегу Кольского залива почти на выходе его в Баренцево море, между губами Оленья и Сайда. Тож левобережными. На северной оконечности Седловатого высилось огромное, как иной цех завода, что Николка наблюдал из окна вагона, когда семья летом ездила в отпуск в «среднюю полосу», как это называли взрослые, здание маяка: с башней ревушей в зимние туманы «сирены», с колокольной могучего «рубинового» прожектора, всю долгую полярную ночь в неторопком вращении высвечивающем залив, оба его берега, идущие военные, торговые и рыболовные корабли и суда. В перерывах между

* О жизни дошкольника Николки см. книгу: Яшин А. А. Страна холода (Детство в Гипербореях): Повесть / Предисл. Л. В. Ханбекова. — М.: «Московский Парнас», 2009. — 351 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

пробирающим до коленной дрожи утробным рычанием «сирены» сквозь кирпичные стены машинного зала доносилась стрекотня дизельных установок, каждая высотой в два Николки и многометровой длины.

...В разгар прошлого лета, в день, когда Николка пригрелся на солнце у стены замершего почти на три месяца маяка, даже щурясь от отсвечиваемых водной гладью лучей, проходивший мимо по своим делам старший брат Толька остановился, одобрительно оглядел младшего, щегольски одетого в серый американский, клетчатый «комплект», то есть в один тон костюм, матерчатые ботинки и кепи — из лендлизовских поставок десяти-с-лишнем-летней давности, тоже прищурился, глядя на широкий выхода залива в море, спросил Николку:

— Знаешь, что такое Северный полюс? — И, не дожидаясь ответа от разомлевшего на июньском солнце братишки, кратко и толково объяснил. — Понял, да? А сейчас вообрази: от места, где мы с тобой стоим, до самой точки этого полюса — через гирло, то есть выход, залива в Баренцево море, через него и льды океана — нет ни единого пятна земли!

Посвистывая на известный Николке мотив «хабара я-а-а, бродяга я-а-а», Толька направился к общему маячному жилому дому (их же семья занимала в нижней части острова отдельную избу; как многодетная, о семи душах вместе с родителями). Слова брата-семиклассника, то есть мыслящего здраво, почти наравне со взрослыми мужиками, столь крепко засели в голове Николки, что и посейчас, хотя почти год прошел, лишь только стаял снег на северном мыске острова — вниз под сопку со зданием маяка, — частенько подходил к самой воде, благо берег низменный и почти горизонтально уходил в тихую погоду под набегавшую морскую рябь, останавливался на самом краю, даже чуть замачивая подошвы ботинок, и до рези в глазах всматривался в даль, в линию горизонта, где залив переходил в море.

В эти минуты, порой затягивающиеся до получаса-часа, его совершенно не интересовал неизменный серый эсминец, что дежурил на входе в Кольский залив, утюжа эту, воображаемую Николкой, линию горизонта справа налево, разворот, слева направо. И военные корабли, гражданские суда, входящие в залив и покидающие его, не задевали интереса Николки. Он все пытался представить себе ту невидимую, туго натянутую нить, что поверх морской воды и льдов Северного океана, плавно изгибаясь над ними, связывает по кратчайшему пути его, Николку, и таинственный Северный полюс. И не единого пятка земли, даже единой верхушки выступающей из воды скалы нет на пути этой нити! Уже дома, для подтверждения своих давешних слов, Толька раскрыл нужную страницу школьного географического атласа и карандашом, но без нажима, прочертил эту нить-линию от Седловатого, которого, разумеется, на карте не было, брат условно обозначил его точкой на самом выходе из Кольского залива, каковой и сам в атласе значился тонюсенькой линией, — до отмеченного точкой схождения меридианов Северного полюса. «Вот смотри, — пояснял Толька, — прямой путь от нас до полюса проходит как раз между Землей Франца — Иосифа справа и Шпицбергом слева. Он норвегам принадлежит, но на деле там шишку держит наш трест «Арктикуголь», что даже свои деньги, бумажные и монеты, выпускает...» Далее старший брат отвлекся на личное: со школьной как завязку, паспорт получу и буду на Шпицберген вербоваться. Рубль там на-а-много длиннее нашего. Опять же там собираются опыт объявления коммунизма проводить*. Это Николке малоинтересным показалось.

* И провели в 70-х годах; почему-то остается малоизвестным фактом, а именно: был реализован коммунистический принцип «каждому по потребности». То есть в городе Баренцбурге — столице «Арктикуголя» — в магазинах плату не требовали (вот не уточнил как с выпивкой и табаком дело было...). Знаю из «первых уст». Главное было, увидев въезжающих в город халявщиков-норвежцев, вовремя закрыть магазины «на учет»...

...Уже через пять-десять минут Николкиного всматривания вдоль невидимой тугой линии по курсу «Седловатый — Северный полюс» душу его охватывал восторженный трепет, да такой ощутимый, что щеки пылали, а ноги пониже колен становились как бы ватными, нечувствительными. Хотелось запеть, да так хотелось, что Николка до твердости сжимал губы и приклеивал язык к небу рта. Не потому что петь не умел, но Толька обучал его только хулиганским школьным песенкам. Стеснялся Николка в сторону героического Северного полюса непотребщину всякую произносить.

♦ Вот и сейчас, в окончании своей последней вольной весны Николка стоял у северной стены маячного здания, смотрел по линии «Седловатый — Северный полюс», но мысли все накатывали с грустинкой. Вот съездят летом в отпуск в родную отцову деревню на целых два месяца, вернутся, а через пару недель попутным гидроотдельским катером-«аркашкой» мать отвезет его с Толькой в Полярный в школьный интернат, куда собирают учеников со всех бесшкольных мест севера Кольского полуострова: маяков, удаленных баз подводного флота, военных аэродромов, зенитных батарей, небольших рыбопромысловых поселков, становищ по-здешнему, еще от новгородских времен. ...И на весь учебный год, до следующего лета, если не повезет на каникулы до дома добраться. И дело не в катере, который гидроотдел или иное флотское ведомство безоговорочно выделит. Здесь как высадить маленьких пассажиров — они все в губах расположены, защищены от бушующих волн, а все каникулы, как назло, от осенних до весенних и зимних новогодних посредине, приходится на обозленные шторма, вязкие и непроглядные туманы, суточные снежные заряды и ветра, ветра... Истинно еще новгородцы об этих местах говорили: от Колы до ада три версты. И на что опытный мореман командир катера РК <номер такой-то> — отсюда и «аркашкой» называют — в честно заслуженном звании главстаршины, но и он, завидев на траверзе крутобокий островок Седловатый, взятый со всех сторон в осаду ревущими, стонущими волнами шторма высокой балльности, посылает подручного салагу в пассажирский отсек объявить, что на Седловатый высадки не будет. «Побьем катер ни про что...» — ворчит в досаде: сам понимает, каково это ребятам из интерната пройти мимо их дома, наблюдая как с каждой швартовкой катера в тихих губах все меньше и меньше их однокашников остается в отсеке, а в итоге вернуться в Полярный...

— Чего, Николка, размечтался?

Это отец вышел из маячного здания, где в преддверии полярного лета с незаходящим солнцем и полного отсутствия туманов затеяли регламентные работы с многосложным оборудованием свето-звукового маяка, гордости гидроотдела Северного флота — перед всеми другими флотами и флотилиями СССР, где нет ничего подобного*. Вышел же Андреян покурить свою трубку на свежем воздухе. Но сначала протер испачканные при переборке одного из дизелей руки просоляренной ветошью.

— О школе? Об интернате? — Андреян раскурил трубку. И Николка сразу повеселел: технический запах из раскрытых дверей маячного здания тотчас вытеснился медовым ароматом «золотого руна», любимого и почти низменного табака отца.— Брось! Год проучишься и попривыкнешь. Опять же защитник у тебя рядом — Толька. А там видно будет, младшие подрастают, тебя догоняют, будем иметь в виду переезд ближе к Полярному: на маяк Большого Оленьего острова или опять на Палагубский — там и вовсе на воскресенье домой рукой подать...

Но взбодренного медовым запахом Николку уже иное сейчас занимало:

* И сейчас маяк Седловатого в действии, но только в автоматическом режиме, с питанием от силовых радиоизотопных установок. Причина отсутствия обслуживающего маяк персонала — нет желающих работать и жить в «подобных» условиях...

— Пап, а зачем политотдельский катер с самого утра к нам причаливал? И матрос с него Федорова требовал, потом с ним на палубе какой-то офицер разговаривал?

— А я думал еще спишь. Ишь, разглядел! Это не какой-то, а подполковник Шулейка, замполит гидроотдела, мой крестник, тудыть его, еще по войне, что все в партию вступать звал и продержал за отказы в звании старшины второй статьи, едрен его... Обьезжает сегодня все окрестные «точки», призывает к бдительности: завтра прямо перед нами, как в театре, между Зеленым и Торосом — отец ткнул рукой с дымящейся трубкой в сторону островов на норд-весте, где Кольский залив имел впадину в материк перед полуостровами Средний и Рыбачий — спектакль нам покажут: будут топить ленд-лизовские американские фанерные торпедные катера. Завтра с утра все сам и посмотришь. Ладно, мне пора к дизелю.

♦ О ленд-лизе Николка, впрочем, не зная даже приблизительно перевод этих слов на русский язык, слышал от отца достаточно. Особенно во время отпускных поездок семьи в родную деревню Андряна, где тот отдыхал от десятимесячного «сухого закона», принятого на маяках и вообще во «владениях» Северного флота*, рассказывая в сельской чайной — с подачей водки — об особенностях службы в войну и нынешней мирной жизни в Заполярье. Взятый отцом с собой Николка пил без ограничения лимонад и прислушивался к рассказам Андряна, в «сухой» маячной жизни сугубого молчуна, в свободное от маячных вахт и мужицких домашних дел время — охотник и читатель толстых книг.

Рассказать же Андряну было чего: почти всю войну, исключая два раза по месяцу в госпитале Полярного и полгода в сорок пятом службы в Мурманске, провел он старшиной команды поста службы наблюдения и связи, СНИС'а по-флотски, на острове Торосе — на входе в Кольский залив из Баренцева моря. В том же помещении поста располагалась и команда из числа союзников, в которой состояли англичане, американцы, даже канадец и новозеландский матрос. Кто-то из них всегда стоял с биноклем на наблюдательном мостике рядом с Андряном или кем-то из его команды, когда по заливу проходили суда «либерти» ленд-лизовских караванов. Уже через полгода совместной службы обе команды научились сносно общаться на языке, несколько похожем на английский...

Был случай: в сильнейший позднеапрельский туман командующий Северным флотом адмирал Головкин позвонил из Полярного на пост и самолично приказал Андряну — «как хочешь и сумеешь, но разыщи мне английский крейсер «Эдинбург», который вроде как у *твоего* Тороса замер в тумане», а тот взял да и простоял весь недлинный световой день на мостике с биноклем и в случайном «разрыве» тумана, густого как овсяный кисель, уловил-таки профиль крейсера.** В открытую никто не говорил, конечно, но слухи на флоте не хуже как в деревне разлетаются: ведь вокруг только свои люди! Словом, всем было известно, что на «Эдинбурге» от мурманского причала вывозят в Англию большую партию золота — расплата за вроде как «бесплатный» во время военных действий ленд-лиз...

«Эдинбург» с золотом все же не дошел до своего Скапа-Флоу***, немцы потопили — за пределами зоны ответственности советского флота, но Андряну успел получить за его обнаружение в Кольском заливе «За боевые заслуги», а сдружившийся с ним Джеймс Лэнг, переводчик из команды союзников на Торосе, и вовсе по своей линии, согласовав с кем следует, послал в Лондон представление Андряна на орден

* Отменили лишь в 1966 году.

** Подробно история с «Эдинбургом» изложена в нашем рассказе «Серебряная ложка»; его легко найти (по поисковику) в Интернете — рассказ опубликован в нескольких литературных журналах.

*** Главная база (Англия) Флота метрополии — *Home Fleet*; во Вторую мировую войну этим флотом командовали адмиралы Товея, Фрейзер, Хамилтон.

Георга. Но какие ордена за крейсер, который потопили? По другой, «слуховой» версии орден Георга все же «пришел», но «затерялся в штабах».

«Главное ведь не награда, но твое, Джеймс, дружеское внимание», — успокаивал Андреян огорченного союзника.

...Когда же внимательно слушающие Андреяна (кто козыряет «длинной» заполярной сторублевкой, тому внимают!) в чайной деревенские мужики, сами вволю повоевавшие в пехоте, переводили разговор с личных заслуг и обид североморца на сами поставки ленд-лизские, то Андреян почему-то, вскользь упомянув о разгрузке в мурманском порту американских танков, английских зениток, тяжелых пулеметов «кольт», прорве ящиков с «вторым фронтом», перекачке по шлангам из танкеров в железнодорожные цистерны тысяч кубов канадского льняного масла*, переходил на наиболее поразившее его воображение во время службы в Мурманске: «хеопсовы пирамиды», по его словам, сеток с какао-бобами. И далее пояснял, что этот груз на судах конвоев ленд-лиза исполнял двойную роль. Во-первых, как сырье (Андреян до войны учился в молочном техникуме, потому говорил со знанием дела) для шоколадной промышленности, а шоколад, как сами воевавшие знаете, — наипервейший сухпак, особенно для летунов и танкистов. Во-вторых же и в главных, полагая, что бобы эти англичанам с их колониями в Африке ничего не стоили, — все суда «либерти» шли увешанные по бортам и надстройкам, на палубах тож навалено, сетками с ними. Попадет авиабомба в судно, снаряд из пушки немецкого рейдера или эсминца — гроздь сеток рассыпется от взрыва, а судно-то цело! Только от торпед подлодок такая «броня» не защитит... А на мурманских причалах после прихода очередного каравана и вырастают «хеопсовы пирамиды». Груз не самый стратегический, потому и вывозят на Большую землю, если в составе железнодорожном образуется паратройка товарных вагонов. «Не баловали нас на фронте шоколадом-то, — возразит иной мужик рассказу Андреяна, — куда же он девался, если такая прорва бобов союзниками доставлялась?» На что Андреян отвечал: да, мол, все наши кондитерские фабрики не в состоянии были перевести эти «хеопсовы пирамиды» в разряд шоколада. Опять же кроме какао требуется сахар и сухое молоко, что в войну тоже на деревьях не росло! Кроме шоколада часть бобов шла на порошок-какао, а остальное?

Здесь в серьезный разговор мужиков влезла буфетчица чайной Агафья, из дальней, как все в одной деревне, родни Андреяна: «Ну ты-то в войну на своем Севере обетовался, а вы, мужики, разве от баб своих не слышали: чем тогда промерзшие дрова в печках растапливали? Вот этими самыми бобами. Они сухие, как порох горят! Как немца в сорок втором отогнали, в сельмаг наш окромя карточного продукта начали и бобы эти завозить: бери сколько хочешь за копейки! Что с ними делать? — Никто объяснить не берется. Пробовали эти кухтыли в порошок долбить и в пойло свиньям и коровам сыпать — так морды те воротят! Вот и приловчились зимой на растопку-то.

...Много чего малец Николка со слов отца и других маячников знал о ленд-лизе, не ведая о сем названии по-русски.

♦ Спозаранку на следующий день Николка, боясь опоздать к началу «спектакля», добежал до маяка — и был первым из зрителей: мужики все на регламентных работах в здании маяка, женщины по домам с малышкой и кухонной готовкой. Ребята школьного возраста в Полярном, в интернате. Только через неделю начнутся летние каникулы, привезет их на Седловатый гидроотдельский катер-«аркашка». Жалеть будут, что такое пропустили!

Меж тем у левого берега залива, между островами Зеленым и Торосом уже стоя-

* В те времена на основе льняного масла изготавливали олифу высокостойкой краски для военной техники.

ли вроде как невпопад расставленные ленд-лизовские фанерные торпедные катера. Почему фанерные, а не стальные, как наши послевоенной постройки? — И это со слов отца Николка прекрасно знал: в боевых действиях такой корабль полагается «смертником», от силы две-три атаки переживет. Его задача — на тихом ходу, маскируясь выступами береговых мысов, подкрасться как можно ближе к вражескому кораблю, затем на курьерской скорости выйти на цель и выпустить в нее обе торпеды, что по бортам на палубе в пусковых установках-трубах находятся. Затем лихой разворот и... помогай морской бог! — успеть скрыться от снарядов пушек торпедированного, особенно если не попал, немецкого корабля. Единственная защита — это скорость и закрывающий — для противника — катер высокий бурун из-под винта. А от авиации — крупнокалиберный зенитный пулемет поверх рубки. Все одно стальной корпус слабо поможет в неравной схватке, поэтому практичные американцы и клепали сотнями торпедные ленд-лизовские катера из толстой, многослойной фанеры с пропиткой.

...Утренний прилив закончился, поэтому приговоренные катера без единой живой души на их бортах стояли на воде недвижимы, без сноса в какую-либо, северную или южную, сторону. Тем более, погода безветренная, поверхность залива зеркальная.

Уже когда действие началось и мужики вышли для любопытства из здания маяка, Федоров, как он сам оговорился, «выдал военную тайну», в свою очередь, услышанную им от потерявшего от счастья (накануне пришел приказ о производстве в «черношинельные», политотдельские полковники!) бдительность Шулейки: катера всю ночь, уже почти светлую заполярную, выводили буксирами на расстрельный рейд со снятыми на полярнинском военно-судоремонтном заводе СРЗ-6 двигателями.— В хозяйстве все пригодится! Сталин приучил с пользой для страны на всем экономить. Еще начальник маяка Федоров пояснил — уже безо всякой тайны,— по-маршальски плавно обведя рукой правый берег и выход в море Кольского залива, что сегодня «до окончания стрельб по плавучим мишеням» (явно со слов Шулейки!) гражданское судоходство приостановлено, то есть из Мурманска отплытие придерживается, а извне, с моря, суда приостановлены, в дрейфе лежат. Как понял Николка из разговора маячников, сделано это не из-за какой-либо секретности, наоборот (опять же Шулейка Федорову сказал), американские и английские наблюдатели специально привезены... мол, без дураков, всерьез топить станем, но чтобы невзначай не повредить проходящее торговое или рыболовное судно.

Сложнее Николка, которому только-только исполнилось семь лет, было понять все из тех же разговоров маячных мужиков под отдаленный грохот «морского боя»: по какой причине топят хотя и фанерные, но ведь доселе бывшие на ходу, торпедные катера? Это значит, что такое же число катеров, уже стальных, нужно будет дополнительно построить для советского флота? Получалось же из услышанного Николкой, что по ленд-лизовскому договору между нашей страной и союзниками, прежде всего американцами, какая-то часть поставок военного времени оплачивалась нами — отсюда и английский крейсер «Эдинбург» с советским золотом, оружие же всех видов — от стрелкового до самолетов и кораблей,— если оно приведено в полную негодность, уничтожено во время войны — как говорится, за счет союзников. Но все, что из поставленного союзниками, причем не только вооружения, осталось в целостности, или еще не использовано, после окончания войны — для Советского Союза этот срок продлевался до капитуляции самураев,— подлежало оплате, хотя и неполной. Понятно, платить по счетам — не в долг брать, дело неохотное. Вот и рачительный хозяин страны Сталин, а за ним хотя и нарочито дураковатый, но по-хотлацки прижимистый Никита расплачиваться с американцами не торопились.*

* Насколько автору помнится из шумливой прессы «лихих девяностых», окончательный долг СССР за ленд-лизовские поставки был все же выплачен в те достославные годы, когда Россию новые ее власти продавали оптом и в розницу; как же священный долг Старшему Брату не возвернуть?!

К середине пятидесятых годов, в самый разгар «холодной войны», наши власти сделали очень мудрый шаг. Поскольку поставленная в войну союзниками техника уже устарела, а советский военпром, разогнанный до курьерской скорости Сталиным, выдавал на горá все новые и новые образцы «изделий», то надобность в ленд-лизовском оружии отпала. И решено было ее уничтожить. Дескать, господа натовцы, и вашим и нашим: для вас — всегда радующее сердце <якобы> снижение боевого оснащения Советской армии, для нас — не платить на основании: а за что платить-то? За металлолом? Так самовывозом и забирайте его себе!

...Примерно в таком смысле, «переведенном» в точные словоопределения значительно позже уже старшим школьником Николаем, и понял герой нашего повествования причину расстрела на рейде фанерных американских «торпедников».

♦ Как то свойственно для неустойчивой погоды тех мест на черте весны и лета, на другой день штить на море сменился коротким по времени, но ощутимым штормом. А здесь и катер гидроотдельский доставил из Полярного седловатовских школьников. Николке завидовали, как очевидцу-наблюдателю образцово-показательного потопления американских катеров, о котором в городе только слышали от одноклассников из семей флотских офицеров. Зато все более или менее пологие берега Седловатого, особенно в отлив, заваленные в шторм деревянными останками разбитых в щепу катеров, одинаково доступны для героя дня Николки и отсутствовавших в оный день на острове ребят-школьников. Впрочем, ничего интересного для их интереса не попадалось. Только Витьке Федорову (на то и сын начальника маяка!) повезло: завладел обломком приборной панели с непонятого назначения стрелочным прибором-индикатором.

...Уже овладевая начатками грамотности в первом классе полярнинской школы, Николка слушал в интернате бахвальство Вовки с маяка мыса Лодейного, что севернее острова Тороса, якобы нашедшего после того шторма на отмели оранжевой окраски спасательный жилет с латунной биркой *U.S.Navy*, то есть «Флот Соединенных Штатов». Мало Николка ему поверил: вряд ли такую полезную в флотском хозяйстве вещь могли просмотреть «раскулачивавшие» катера перед выводом на потопление интенданты! Но с другой стороны... откуда второкласснику с Лодейного маяка знать как выглядят американские спасжилеты и начертание букв английской надписи? Темное дело, решил Николка и далее оставил все ненужные размышления на этот счет.

В ночь за потоплением ленд-лизовских торпедных катеров Николке приснился яркий — по обилию самых мелких деталей шутейного сражения — сон, который далее несколько раз повторялся. Понятно, во сне том дневные впечатления приукрасились всякими додумками, на которые горазд мозг спящего человека, впечатлительно-го пацаненка тем более, но в общем-то все соответствовало картине происшедшего, на просмотре которой Николка и маячники Седловатого, как в зрительном зале, сидели на первом ряду.

Не только в снах, но и наяву воображение повторяло в голове Николки то погибельное для безлюдных американских катеров нарочитое сражение. Случалось это в часы мучительной тоски по родному дому, по крохотному островку Седловатому школьника-интернатовца. Пока к окончанию Николкой шестого класса семья-таки перебралась в Полярный.

Видение же наяву означивалось следующим образом. Узнав от интернатовских однокашников, что весь вид на выход из Кольского залива — чему в городе мешал остров Екатерининский, наглухо закрывавший для взора север,— можно получить только взобравшись на самую высокую сопку, слева отделявшую собственно Полярный с Екатерининской гаванью от губы Пала, на берегу которой располагался СРЗ-6 с его доками, цехами, кранами. Сложно, а по мнению взрослых и совершенно опасно

для младшего школьника, было Николке взобраться бездорожно, но зато по затвердевшему в феврале от нескончаемых ветров с морской солоноватой влажностью снежному насту на стопятидесятиметровой высоты сопку. С вершины же ее в тихую погоду, в свете уже поднимающегося после темени полярной ночи над горизонтом, хотя и невысоко, кирпично-красного солнца и открывался этот волнующий душу Николки вид.

Как с любой высоты все лежащие внизу «под ногами» смотрится плоским и с увеличением дальности взора уходящим как бы ввысь, так и перед Николкой за Екатерининским островом, как закопченное зеркало, иссиня-темная водная гладь поднималась все выше и выше, пока он переводил глаза от укутанного в сплошной снег Екатерининского, за ним и впритык острова Большой Олений, на маяк которого их семья вскоре переедет, далее на выход из губы Оленьей... а вот и Седловатый! — Как маленький крутобокий пирожок, щедро присыпанный сахарной пудрой, что одиноко лежит на столе, покрытом темно-синей клеенкой. И клеенка есть такая, и выпеченные матерью пирожки с пудрой... Но все это дома, на Седловатом, где мать, отец с бородой лопатой, пропахшей медовым табаком «золотое руно», двое младших братьев, еще не удостоенных звания школьников... Слезы навернулись на глаза — верно мать говорит: тоска хоть плачь.

Комки к горлу подступают. Чтобы в пугающем одиночестве на вершине заснеженной сопки не разреветься, Николка уже заученно оторвался от вида Седловатого и перевел взор выше, севернее, мористее, как это называла мать на своем поморском архангельском наречии, на водную пустошь между островами Зеленым и Торосом. Снова сделав над собою усилие, отгонял тоску по дому, представил себя в первом ряду всплывшей наяву картины сражения вооруженных кораблей с обреченными, безоружными. Уже в который, почти что бессчетный, раз прокручивал Николка в себе и для себя, для своей тоскующей по дому души, эту великолепную *картину*, уже ставшую для него как-то раз просмотренной *кинокартиной*, накрепко и нацело запавшей в память.

...Обреченные и разоруженные, лишённые матросских команд катера расставлены не как попало. Многие штабные каперанги* и командиры эскадр в Полярном** долго совещались и составляли диспозиции военных учений с поражением реальных, хотя бы и не сопротивляющихся, целей — для оттачивания мастерства нанесения ударов в приближенной к боевой обстановке.

Видел Николка своими глазами в тот последний предшкольный год, а затем в повторах во сне и в грезах наяву на вершине заснеженной сопки, как кильватерным строем, а затем рассыпавшимся флангом, на полной курьерской скорости с трехметровыми бурунами за кормой собратья обреченных — советской постройки стальные торпедные катера, маневрируя, уклоняясь от условного ответного огня, подбегали к целям, выплевывали уже настоящие, боевые торпеды, затем резко, с критическим наклоном бортов, разворачивались и уходили прочь. Опять же от условного ответного огня. В это время от удачного попадания в высоченном водяном столбе разлетались в щепу фанерные ленд-лизовские «торпедники»... хотя бы со времени войны нам верно служившие. Бей своего, чтобы чужой боялся! Стоявшие поодаль, ближе и дальнему правому берегу Кольского залива, эсминцы и крейсер вели пушечный огонь. И... то ли это в самом деле имело место быть, а может и сон Николке приукрасил и расширил действия, но мнилось ему наяву, как в середине залива выскочили из водных недр две торпеды и пошли на цели — значит, подводные лодки задействованы.

В небе со стороны аэродрома дальней бомбардировочной морской авиации (потом

* Капитан первого ранга (флотск.)

** В описываемое время Полярный являлся главной базой подводников и катерников Северного флота.

получит имя Сафонова) показались и самолеты. Но для них акватория сражения явно маловата, то есть просто, не бомба, отрабатывали маневры захода на морские цели.

В считанные пару часов все завершилось. Спокойные в тот день, зеркально отсвечивающие воды залива, успокоившись от взрывов, покрылись тысячами мелких, не тонущих обломков.

Уже проживая последний год на маяке Большого Оленьего, готовясь с этого лета стать жителем Полярного, шестиклассник Николай в весенние каникулы с двустволкой-«ижевкой» шестнадцатого калибра прохаживался по берегу широкой, но мелководной, с выступающими камнями, островной бухты. Без особой охотничьей цели бродил, ибо зимняя птица, те же гаги, уже улетела, а крупные береговые кулики еще не появились. Снег по берегам бухты пожелтел и прожух. Солнце явно намекало на близкую весну. Первыми это почувствовали обитатели бухты: метр-полтора глубины по краям пропускали солнечные лучи до усыпанного ракушками и галькой дна. Вот и краб из своей норы выполз на свет... Надо сказать, что если на Черном море бычки свежего приготовления считаются почти что деликатесом, а на Дальнем Востоке японцы за большие деньги обедают камчатским крабом, то на кольском Севере их ближайшие родичи (не японцев, но бычков и крабов) полагаются самыми презренными ничтожествами из водоплавающих. Если на крючок рыбака-удильщика попадет бычок, петух по-тамошнему, то летит с проклятьями обратно в воду. И северный краб потщедушнее камчатского, промыслового значения не имеет, и никому даже в голову из живущих на островах и материковых берегах не придет мысль о съедобности этого ракообразного! Истинно, в каждом монастыре свой устав.

И этот предвесенний краб только потому уловил на себе взгляд серьезного шестиклассника Николая, что полз он по береговому дну не по песку и гальке, но по полуметровому неровному обломку доски, явно когда-то окрашенной и полаченной, а с другого конца различался прикрепленный овальный шильдик, говоря по-флотски, из непокрытого коррозией белого металла — что-то навряд ли тех инвентарных номеров, что шурупами приворачивают на боковые стенки казенной мебели. Как у них в школе и интернате. Заинтересованный Николай не поленился, вспугнув робкого краба, подручной палкой, выступавшей из подтаявшего у самой воды снега, подвести обломок доски к берегу, ухватить его и вытащить. Явно доска с боковыми пазами была от какого-то приборного кожуха. Оттерев же шильдик полкой своего ватника, Николай действительно разобрал на нем номер и надпись: *U.S.Navy*. Усмехнулся рассудительно среднестарший школьник, вспомнив виденное много лет назад с северной оконечности Седловатого образцово-показательное потопление фанерных американских торпедных катеров: *вот он, последний отголосок ленд-лиза!**



* Но вот что совершенно непонятно автору: по какой такой причине, спустя двадцать лет после окончания войны, в городе Полярном во всех продуктовых магазинах на полках стояли рядами двухлитровые жестяные банки с вкуснейшим конфитюром из айвы, причем на банке написано по-русски «Конфитюр из Айвовь», то есть штата, а не фрукты-ягоды... Изготовлено в США.— Каково это в самый разгар «холодной» войны? — Может чисто торговая «составляющая» ленд-лиза еще действовала? Молчит история.

Владимир Десятников
(г. Москва)



КАК ВКУСНО ПАХЛО ХЛЕБОМ

Наш постоянный автор.

Сестре Вале и брату Феликсу

Порфирьич даже опешил. Едва он открыл люк мусоросборника, как на него посыпались батоны, полубуханки и просто куски хлеба. Он даже задрал голову вверх, как будто можно было увидеть, кто же там выбрасывает хлеб в мусоропровод. «Да что они, озверели? — в сердцах выругался дворник.— И ведь это не из одной квартиры»,— убежденно заключил он про себя.

Хлеб лежал на цементном полу в грязной вонючей жиже среди огрызков, листов бумаги, картофельных очистков, сношенной обуви, бочонков детского лото. Держа в обеих руках по сухому нарезному батону, Владимир Порфирьич машинально обтер их о свой заскорузлый фартук и так стоял в нерешительности с минуту. «Куда ж мне столько хлеба девать? — подумал дворник.— Не выбрасывать же, как они». Он достал из кармана не читанную еще газету, расстелил ее на кафельных плитках крыльца и стал аккуратно, батон за батон, кусок за куском, раскладывать хлеб. Когда газеты уже не хватило, он стал класть хлеб на гладкие плиты.

— Ну и денек выдался,— проговорил он, качая головой.

Хлеб выбрасывали каждый день, но такого он еще не видел. Порфирьич достал смятую пачку сигарет, закурил, глубоко затянувшись. Как и всегда, когда видел выброшенный хлеб, Порфирьич с горечью подумал: «А ведь этим хлебом в блокадном Ленинграде можно было жизнь спасти». Сам Порфирьич в Ленинграде в то время не был. Их семья была эвакуирована в пригород Алма-Аты. Позже, подростком, он пошел там на военный завод. Делал болванки для 82-миллиметровых мин. Но вот уже сколько лет прошло, а как увидит хлеб в грязи, так и вспоминает войну. С ним до сих пор случается: идет мимо полных витрин магазина, а потом вдруг остановится и так, чтобы не замечали прохожие, начинает считать банки со сгущенкой, сыры, пачки с вермишелью и печеньем. И все это с одной лишь целью — определить, на скольких людей можно было бы все разделить и как долго бы они продержались в голодном Ленинграде. Да, именно в Ленинграде, а не где-нибудь в другом месте, хоть голодно было в ту пору везде.

«Что с людьми произошло — не понимаю». Порфирьич провел рукой по влажной скамейке у подъезда и присел.

Мелкая водяная пыль сыпалась с неба. Работать дальше он не мог. Это дело, как говорил он в таких случаях, надо перекурить. Детское оцинкованное корыто, в котором он возил на тележке мусор, вызвало у него почему-то улыбку. Он закурил, и

мысли унесли его в прошлое. И причиной всему — выброшенный хлеб. Ведь это форменное предательство — глумиться над хлебом.

...Вот Вовка мальчиком стоит в полукилометровой очереди за хлебом. Идет дождь. Люди прижались к дому. Его очередь еще далеко. Вход за углом. А впереди, заглушая разговоры женщин, отгадывающих друг дружке сны и пересказывающих письма с фронта, стучит вода по дну проржавевшего детского корыта. На голодный желудок как-то особенно зябко стоять на ветру под дождем. Скорее бы завернуть за угол. Там не так дует, а главное — там, когда открываются двери магазина и люди партиями выходят и заходят, ноздри улавливают сытный, ни с чем не сравнимый запах хлеба...

Порфирьич вспомнил все это и подумал: «Сейчас хлеб для меня так не пахнет. А что они? — Порфирьич думал уже о тех, кто выбросил хлеб.— Они наверняка и во все не ведали ни голодухи, ни вкуса, ни запаха хлеба. Потому и выбрасывают, что не знают ему цены.— Порфирьич взглянул на хлеб в грязи.— А ведь и я не стал бы сейчас, даже голодный, есть этот хлеб. Сытый стал,— зло подумал он про себя.— В войну цену хлеба ой как знали!»

Он снова, как бы со стороны, увидел себя в очереди за хлебом. Вот уже и долгожданное крыльцо. Со следующей партией войдет в магазин и он.

Хлеба ему тогда не дали. Продавщица посмотрела его карточки, положила их на прилавок и как-то по-особому сочувственно сказала:

— У вас все съедено. За четыре дня вперед дать никак не могу.

Стоя в очереди, он и сам знал, что хлеба не дадут. И все-таки выстоял, дошел до прилавка. Дома его ждут младший брат и сестренка. Они тоже знают, что хлеба могут и не дать. Прошло четыре часа. Фелька с Валькой еще надеются. Вовке так жалко стало их, что он чуть не заплакал. Закусив губу, с глазами, полными слез, он, не поднимая головы, вышел на улицу. Когда был в магазине у прилавка и волновался, глядя на аккуратно отрезанные ножницами карточки, хлеб так не пах. А чуть сошел с крыльца, опять ноздри защекотал сытный запах ржаного, с добавлением отрубей и кукурузы, хлеба. Вовка отошел от очереди и долго стоял, как будто можно было дышать надыхаться тем воздухом.

«Нет, сейчас уже хлеб так не пахнет,— снова подумал Порфирьич, окидывая взглядом начавший мокнуть на дожде хлеб.— Ведь раньше даже сухой хлеб для меня имел запах...»

И снова он вспомнил себя мальчишкой. Едущим на полutorке. Машина шла в Аксай. Это была первая в его жизни поездка на работу. В кузове — несколько таких же, как он, подростков. Ехали молча. Думалось об одном: как встретят на работе? Вдруг машина резко затормозила. Встав на баллон и держась рукой за борт, в кузов вскочил белобрысый лейтенант в пилотке. Ребята сидели на полу, прячась от ветра. Их попутчик стал в полный рост, упершись в кабину и широко расставив ноги. И тоже молчал, тоже думал о своем. Потом он достал из-за пазухи краюху черствого хлеба и стал есть. Вовка почувствовал запах хлеба и поднял голову. Ему тогда было видно снизу, как у лейтенанта движется кадык на шее. Но не запах хлеба удивил его. С изумлением и какой-то щемящей жалостью Вовка вдруг увидел и понял — лейтенант беззвучно плакал, грызя черствый хлеб. Почему? Вовка даже представить себе не мог причину этих слез. Лейтенант был молод, силен и красив. Но слезы его были вовсе не от ветра.

«Жив ли тот лейтенант? — подумал Порфирьич. Думы его совсем были невеселые.— Эх, человеки, человеки, какие мы стали... До чего дожили... Хлеб в помойку выбрасываем».

Парадная дверь стала непрерывно стучать — люди пошли на работу. Порфирьич

подошел к двери мусоропровода. За трубой у него был спрятан мешок. Он положил его на пол, расправил. «Хлеб убирать не буду,— твердо решил он.— Пусть все видят, до чего мы дожили». Он бережно наполнил мешок бутылками, приберегавшимися на случай. Поднявши мешок, Порфирьич прикинул стоимость стеклотары и неспешно опустил его в корыто. Решительно захлопнул дверь мусоросборника, два раза шелкнул ключом.

— Все... полна чаша,— негромко вслух сказал он.— На такой работе молоко за вредность надо получать.

Домой он вернулся поздно вечером, с песнями.

— ...Все-о равно-о война! — звучным аккордом закончил он последнюю, уже в подъезде. Она громким эхом прокатилась по всем этажам большого дома.



Ефим Гаммер
(г. Иерусалим, Израиль)

РОДОМ ИЗ ОДЕССЫ

эссе



Член редколлегии израильских и российских журналов «Литературный Иерусалим», «ИСРАГЕО», «Приокские зори», автор 25 книг стихов и прозы, лауреат Бунинской и многих других российских премий.

1

22 июня 2016 года, в день 75-летия начала войны с фашистами, мою маму Риву доставили на скорой помощи в ашкелонскую больницу «Барзелей». Я с сестрой Сильвой были последними, кто застал ее еще живой. Она умерла 23 июня в 18.40.

*Часы живых, прошу,
с часами мертвых сверьте.
И вслушайтесь, и вслушайтесь
в их слитное звучанье.*



Что ж, остается вслушиваться. И вглядываться. А сверяя часы живых с часами мертвых, волей-неволей вернешься в то время, когда никто не думал о скоротечности жизни, и вольно чувствовал себя в настоящем, не догадываясь, что оно стремительно превращается в прошлое.

Но какое это прошлое, если разразилась шестидневная война и каждая еврейская семья внезапно заразилась Израилем? Какое прошлое, если старшая дочка Сильва с мужем и детьми подала документы на выезд на историческую родину? Какое прошлое, если и она сама, моя мама Рива, дождавшись выхода на пенсию мужа, тоже устремилась в Израиль. Какое прошлое, когда это наше настоящее!

Мне же и брату Боре выбраться из Союза нерушимых республик по вызову сестры Сильвы советская власть не разрешала, пока не получим вызов по «прямому родству» — проникнетесь этой казуистикой! — не от родной сестры, а от родителей. Посему мама выехала раньше, чтобы не подрывать интересы страны, в которой родилась, выросла, получила медицинское образование и носила передачи своему папе в одесский ДОПР до его отправки из тюремной камеры в концлагерь. А затем война.

Эвакуация. Работа в две смены на авиационном заводе № 245 в Чкалове (Оренбурге) на Урале. Холод и голод. Направление на лесоповал, куда по логике убойного времени решено было отправить работающих на заводе женщин. Но не отправили. Женщины сообразили, чем для них может закончиться работа в лесу и житье в бараках под присмотром бригадиров-уголовников, разумеется, не женского пола, и разом забеременели. Все. Оттого я вырос в заводском доме, уже в Риге, куда передислоцировали после войны наше предприятие. В 15 лет меня взяли на работу в бригаду жестянщиков моего папы. И давай вкалывать, попутно став чемпионом Латвии по боксу и поступив в институт, откуда ушел в армию, чтобы по возвращению, соскучившись по маме, написать в день ее рождения:

*Мама, вот и сорок восемь.
Годы возраст теребят.
В бабье лето, а не в осень,
Время занесло тебя.*

— Зачем про бабье лето? — смеялась мама. — Мне больше по нраву весна. Пиши про нее.

— Какая же у тебя была весна? Как мне знать?

— А ты пиши. И — увидишь — напишется.

Как бы это ни звучало парадоксально, но она была права. Написалось.

Что же получилось? А вот что!

В незапамятном году, когда юная Рива Вербовская закончила Одесский медицинский техникум и обзавелась дипломом, к ней на прием в поликлинику пришел за укол знаменитый баянист Арон Гаммер, играющий на концертах и танцах в парке Шевченко. Укол был настолько удачным, что Арон Гаммер пригласил Риву Вербовскую в ЗАГС. И что? Она таки согласилась. А почему бы и впрямь не расписаться, если любовь, как поет Утесов, «нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждут».

Любовь нагрянула, они расписались, и Арон Гаммер стал не только музицировать в парке Шевченко, но и петь куплеты собственного изготовления:

*В понедельник я влюбился,
Вторник я страдал.
В среду с нею объяснился,
А в четверг ответа ждал.
В пятницу пришло решение,
А в субботу разрешение.
В воскресенье свадьбу я сыграл.*

Свадьба пела и плясала, как это принято в Одессе. В том же доме на улице Средней, где когда-то мама Ривы Вербовской выходила замуж за ее папу — Ида Гинзбург за Аврума Вербовского, героя и инвалида Первой мировой войны. На той свадьбе 1917 года, проходящей под аккомпанемент залпов «Авроры», гулял король Молдаванки Мишка Япончик.

На свадьбе Ривы, теперь уже Гаммер, гуляли другие звезды Одесского неба, больше имеющие отношение к искусству, чем к налетам. На столе было не так, чтобы очень. Но и не так, чтобы ничего. И картошечка, и селедочка, и выпить, и добавить под «горько». И надежды, что юношей питают. Одна из таких питательных надежд квартировала в Москве, где на студии грамзаписи предполагали издать пластинку фрейлехсов Арона Гаммера. Вторая, подобно бессонной кошке, гуляла по

оцинкованной крыше Первого Артиллерийского училища. Почему? Эта загадка легко разрешима, если прикинуть, как Арон Гаммер, представляясь гостям со стороны невесты, говорил:

— Я закончил Первое Одесское артиллерийское училище.

— О! — отвечали гости на доступном разумению языке восхищения и искали на отвороте пиджака Арона петлицы, а в них лейтенантские кубари. Искали чего-то хорошего, как это принято в Одессе, и не находили, что тоже присуще городу Соньки — Золотой ручки.

Бедные на воображение, они не догадывались, что Арон — известный для них в качестве музыканта, композитора сочинителя стихов, был заодно и потомственным жестянщиком — сыном великого мастера кровельных работ Фроима Гаммера. Вот в качестве кровельщика и закончил он военное училище, то бишь, в переводе с одесского на русский, закончил крыть крышу военного училища, за что и получил похвальную грамоту от армейского комиссара 1 ранга Яна Борисовича Гамарника (настоящее имя-отчество Яков Пудикович).

Сильва родилась, как это принято в Одессе, через девять месяцев после свадьбы. Подсчитать это легко на пальцах. Ходили в ЗАГС 1 августа 1937 года, а в родилку 13 мая 1938. Радости было много, света прибавилось в небе и воды в Черном море. Так что на радостях Сильвочка росла не по дням, а по часам, словно предчувствуя, что вскоре разразится война, и уже, кроме голода и холода, не будет никаких достойных приобретений.

Бомбежки. Одесса на колесах. Эвакуация. Бесконечные перегоны. Южный Урал.

В первый класс Сильвочка пошла в Чкалове, так назывался в ту пору Оренбург — родина «Капитанской дочки» А. С. Пушкина. Портфель ее разбухал от пятерок, переполнявших тетради по чистописанию, и мама Рива смотрела на малюсенькую дочку с удовольствием, полагая, что Сильвочка тоже поступит в медицинский техникум и станет дипломированной медсестрой, а то и врачом. Лично ей, по вине обстоятельств, пришлось отказаться от продвижения по медицинской стези. Война шла не только на фронте, но и в тылу, и для разгрома врага страна потребовала пере-квалифицироваться из медсестер в жестянщики, что Рива Гаммер и успешно сделала. Благо под боком — в прямом и переносном смысле — находился ее муж Арон Гаммер. В данный исторический момент он возглавлял бригаду жестянщиков, которая вкалывала в три смены на 245-ом авиационном заводе, изготавливая подогревы для бомбардировщиков дальнего следования, утюживших крыши Берлина.

Подогревы были личным изобретением Арона Гаммера, и это радовало Риву, так как на бригаду полагалась в заводской столовой одна тарелка стахановского супа, где крупинка крупинку догоняла, не давая сдохнуть с голода. Словом, набирались сил для трудовых рекордов. И что? Думаете, не ставили их? Ставили, и еще как, выполняя на триста процентов производственные нормы. Рива при этом успела и забеременеть. Раз, потом второй раз. Сначала она родила Эммочку. Но Эммочка, так и не дождавшись, когда ее отлучат от груди, чтобы жить впроголодь на «хлебных карточках», умерла от воспаления легких. И тем самым выправила для меня вакансию. Я не задержался и появился на свет в ночь начала штурма Берлина 16 апреля 1945 года, ровно в тот час, когда вспыхнули сотни прожекторов и войска двинулись в атаку, в ритме которой я и живу до сих пор.

Самое удивительное со мной было в том, что я не плакал. Родился без плача, и дальше — все первые дни не подавал ни звука. Наверное, ждал, чем окончится битва за Берлин. Мама Рива бегала по врачам, спрашивала:

— Что же будет? Он ни слова не говорит ни на каком языке. Будто не из Одессы.

— Мы тут все не из Одессы, — отвечали врачи.

— Но вы ведь говорите, — донимала их мама.
— Говорим, потому что вы нас спрашиваете.
Мама поняла и спросила меня:
— Фимочка! Ты уже будешь один раз говорить?

Я сказал:

— Угу! — и с тех пор рот не затыкаю.

Мама была счастлива: Фимочка говорит!

Папа был счастлив: Фимочка говорит еще нечленораздельно, никто его слов не извратит и не напишет донос.

Дедушка Аврум, папа моей мамы Ривы, был тоже счастлив: ему было теперь с кем поговорить по душам.

Только что его, инвалида Первой мировой войны, попросившегося добровольцем на фронт, освободили из ГУЛАГа, куда он попал, как и многие, ничего преступного не совершив — просто по оговору. В лагере, когда он ковал Победу подручными средствами — пилой и топором, уголовники обрушили на него подрубленное дерево, сломали ногу, и теперь он едва ковылял. Но все же был рад: ковылял ведь на свободе, а не за колючей проволокой. И охотно вышел бы на парад Победы, если бы его пригласили.

Но дедушку на парад не пригласили, вместо этого его направили вохровцем на охрану 245-го авиационного завода, в слесарном цеху которого работала вся наша семья. И он вместе со всеми нами отбыл в Ригу, где 245-й авиационный завод был переименован в 85-й ГВФ и разместился в корпусах бывшего винно-водочного предприятия, адрес: ул. Анри Барбюса, 9.

Здесь, в районе концлагеря смерти Саласпилса и на товарной станции Ошкарны прибывшие с Урала рабочие разбирали штабеля дров, с вмерзшими между бревен трупами людей, тех, кого фашисты не успели сжечь перед бегством из Риги.

Здесь, в большой нашей одесской семье, уже имевшей в моем лице урожденного уральца, появился и первый рижанин. Им, к собственному недоумению, оказался Леня Гросман, весь из себя чернявый, как смуглянка-молдаванка. Очевидно, в память о Черном море его и сотворили на берегах Балтийского. Мы с ним представляли разительную пару — я блондин, он брюнет, мои глаза — пронзительно голубые, его — отборный чернослив. Не похожи, но братья — не разлей-вода. Впрочем, эта привязанность объяснима. Он мне не только двоюродный брат, но и брат молочный. Лена мама Беба Гросман умерла в Риге в феврале 1947 года, и моя мама Рива, ее старшая сестра, отлучив уральского молодца от груди, выкормила рижского младенца своим одесским молоком, чтобы он был здоровым.

А, выкормив, стала следить, чтобы в учебе он не отступал от меня. Он и не отступал. Учился, учился и выучился в инженеры. У нас все выучились. Причем стахановскими методами, досрочно. Я, допустим, на один год раньше положенного срока закончил Латвийский государственный университет, отделение журналистики, установив своеобразный рекорд нашего высшего учебного заведения: за один день однажды сдал восемь экзаменов и зачетов. Вы спросите: к чему такая спешка? Отвечу: в моих ушах с первого класса стояли мамины слова:

— Пока ты донесешь до меня свою пятерку, я уже умру от ожидания.

А теперь представьте: я заболел скарлатиной. Эта неприятность произошла в 7 лет, когда ребенок практически безоружен для великовозрастных пацанов, с кем его поместили лежать в одной палате. Воспитанники улиц бросались на меня с криками, что я другого рода-племени, и мне приходилось героически отбиваться от их численного преимущества, кусаясь и царапаясь, на подобии Маугли. Исходя из этого, мое лечение шло с переменным успехом, прибавляя к высокой температуре многочис-

ленные синяки и ушибы. Но тут младший братик Боря, следуя примеру Лени, который захворал, собираясь ко мне на выручку, тоже подхватил скарлатину. В результате мама Рива, настойчиво демонстрируя докторам-специалистам болезни грудного Бори и четырехлетнего Лени, добилась разрешения лечь ко мне в больницу. И тем самым закрыла амбразуру хулиганского дзота, проделанную драчливыми кулаками мелких антисемитов.

При зачислении в больницу активную помощь маме оказала моя старшая сестра Сильва. Она тоже успешно затемпературила, но настолько странным образом, что ее исцеление могло произойти только под музыку. Такой диагноз поставили лечащие врачи. Почему? Никто этого не знает. Но догадаться легко.

Когда белые халаты провели, что Сильва — аккорденистка, виртуозного мастерства, то быстро смекнули: на носу новогодние праздники, и без столь выгодного больного, умеющего создать настроение, их прочие пациенты помрут от скуки, если их не доконают другие заразные болезни. Сильву вместе с аккордеоном зачислили на койку в общую для пополняющейся семьи палату, где, в ожидании ее репетиций, держали под мышкой градусники Боря и Леня.

Как тут не вспомнить Ива Монтана?

«И сокращаются большие расстоянья, когда поет далекий друг».

Вот это я и почувствовал, вот это я и оценил, когда услышал сквозь стенку, как пароль, что «в лесу родилась елочка, в лесу она росла».

Сильва? А если здесь Сильва, значит, помощь близка.

— Когда моя мама придет? — закричал вопросительно, и поднялся над кроватью. Лево́й рукой я держался за ее металлическую спинку, а правой размахивал, как Чапаев, саблей. Но не саблей, разумеется, а полотенцем в пупырышках, связанном на конце в узел, так называемый «кулак».

Драчливые придурки, наускиваемые дядей Витей с соседней, у окна, койки, бросились в атаку на человека «не того рода-племени».

— Бей жидов! Спасай Россию! — кричали они в столице Латвии.

Что оставалось? «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает!» И я, обороняясь, лупил их смастеренным за ночь оружием.

— Когда моя мама придет?

Этот, отнюдь не победный, клич извлек из-за двери санитаря приличных даже для сумасшедшего дома габаритов. Он схватил меня в охапку и потащил по коридору. Куда-то туда, где призывно росла елочка, известная детворе тем, что зимой и летом стройная, зеленая была.

На Новый, 1950-й год Сильва давала концерт. Под елочкой, украшенной игрушками. Перед больными вполне излечимой скарлатиной и неизлечимым антисемитизмом. А затем, когда дошло до выписки, аккордеону, моему спасителю, придумали устроить карантин. Мол, выпусти такого наружу, глядишь, он и заразит микробами проходящую мимо публику.

«Как же так,— возмутилась во весь свой подростковый, уже неподконтрольный возраст Сильва.— Меня можно выпускать на улицу, а «Хоннер» нельзя? Никого он не заразит, я ручаюсь. Аккордеон, он даже дышать на людей не умеет, тем более кашлять с брызгами слюны».

Но врачи не поверили моей сестре. И, посоветовавшись в «мертвом покое», приняли решение: устроить музыкальному инструменту если уже не карантин, так «чистку мозгов», то бишь дезинфекцию. И устроили. С помощью марганцовки, йода и медицинского спирта. Да настолько результативно, что аккордеон качественного немецкого производства, привыкший к другому обхождению, на выходе из «мертвого покоя» охрип и сипло исполнил: «Шумел камыш, деревья гнулись. А ночка темная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра».

Под эту музыку мы — Сильва, я, Леня и грудной Боря, еще не умеющий ходить, но активно двигающий ножками на руках у мамы, чтобы поскорей добраться до дома, — покидали гостеприимную больницу с диким желанием никогда больше не хворать. Желание подкреплялось убежденностью, что мама у нас правильная — по образованию и специальности медицинский работник: отсюда и надежды, что юношей питают вместо вирусов. И хорошо делают, что питают. Иначе каюк. Почему? Да потому, что каюк! Что тут непонятного? Каждому такую маму! 4 декабря 2015 года ей исполнилось 97 лет. Где? Не так далеко от Черного моря. На берегу не менее шикар­ного — Средиземного. В Израильском городе Кирьят-Гате. Это, конечно, не Одесса, но тоже кое-что. Казалось, еще чуть-чуть, и доживет до ста. Но не судьба.

2

В неизбывном далеке, в том самом 1970 году, юбилейно-победном, когда в редакции «Латвийского моряка» возникла идея скомпоновать сборник о войне «В годы штормовые» по принципу газетной рубрики «День первый — день последний», вна­чале дать очерк о капитане Дувэ, погибшем 22 июня 1941 года, а в конце...

Помнится, у меня тогда чуть не вырвалось: «Мой дедушка Аврум Вербовский умер девятого мая. Но не в сорок пятом. В шестьдесят первом».

Ох, не знал я, не догадывался, что и мой папа Арон умрет тоже девятого мая. Но уже не в Риге. В Израиле. Ровно через сорок лет после дедушки, в 2001 году. Сорок лет, сорок лет пустыни... мистические сорок лет каждой еврейской судьбы. Я в сорок лет внезапно, словно по велению свыше, стал художником. В 53 года, спустя сорок лет после первого выхода на ринг, я вновь надел боевые перчатки, и стал чемпионом Иерусалима по боксу, чтобы до семидесяти лет повторять это раз за разом.

А тогда в 1970-ом, ничего не зная о цифровом коде и предопределенности, я горько усмехнулся. Чего толковать, мой дедушка Аврум никак не укладывался в каску метранпажа. Он был не из той войны. В 18 лет пошел добровольцем на Первую мировую, и вернулся в родную Одессу, на толчок, в 1917 с простреленной в наступательном бою рукой.

Инвалид Первой мировой попросился и на Вторую тоже добровольцем. Правда, уже не из Одессы-мамы, где в топке великого голода двадцатых годов сгорели от истощения его отец Шимон и новорожденный сынишка Мишенька. Малыш, в отличие от древнего цадика, скончался, можно сказать, в полном недоумении, обхватывая ручонками грудь своей мамы, впоследствии моей бабушки Иды, иссохшую — ни капли молока — грудь-кормилицу.

На Вторую мировую дед Аврум попросился из недр ГУЛАГа.

«Готов жизнь отдать за товарища Сталина. Чем такая жизнь, так лучше погибнуть на фронте», — писал он простреленной рукой, притоптывая в такт слов изуве­ченной на лесоповале ногой. Писал под диктовку Уполномоченного Органов, управ­ляющих его подневольной долей. Просьбу уважили. И досрочно, весной 1944-го, выпустили из Соликамска, щедрого на смерть лагеря. Но медицинская комиссия забодала старого, под пятьдесят, солдата. Рука на перевязи. Нога, переломанная в колене упавшим деревом, вывернута диким образом, лицом к пятке, будто смотрит не на передовую, а в тыл.

И дед Аврум вместо фронта попал в Оренбург, тогда Чкалов, охранником на 245-й авиационный завод. Здесь, в слесарном цехе, обе его дочери Рива, моя мама, и Беба, ее сестра, жена Абрама Гросмана, тоже законного внука Молдаванки, вкальва­ли с опережением плана в одесской бригаде жестянщиков моего папы Арона. Эта славная семейка клепала подогревы и бензобаки для бомбардировщиков дальнего

следования, которые утюжили крыши Берлина. Им же за ратный труд выделялась на всех троих в заводской столовой одна тарелка стахановского супа, где крупинка крупинку догоняла. Суп полагался только бригадиру, то бишь моему папе Арону, а простые рабочие, жена его Рива и ее сестра Беба должны были давиться сухим хлебом. Впрочем, процесс насыщения был рационализирован, и суп зачастую использовался в качестве вкусового размягчителя для хлеба. Он так же, как и стахановский суп, отпускался по карточкам, 800 грамм работающим, 400 иждивенцам и детям. А иждивенцем в этой мишпухе числилась разве что бабушка Ида, детьми же — ее младшая, девятилетняя дочка Софочка, мои сестры шестилетняя Сильвочка и трехмесячная Эммочка, скончавшаяся, правда, вскоре после получения карточки на питание от воспаления легких, а также, впритирку к ним, трехлетний Гришенька Гросман, умудрившейся родиться в Одессе под бомбами 25 июня 1941 года.

Чтобы не сдохнуть от щедрот государства, ломающего хребет фашизму с попутным исправлением сутулости своего народа, необходимо было найти Ангеласохраниителя. На эту роль вызвался Гришин папа Абраша Гросман. Он устроился электриком на хлебокомбинат. И по этой причине приобрел связи, полезные для внедрения своих домочадцев, земных авиаторов, в пищевую промышленность. Одесская бригада жестянщиков моего папы Арона после дневной смены отправлялась на ночную. На комбинате они изготавливали железные формы для хлебной выпечки. Вознаграждением за труд служили обрезки хлеба, позволенные для выноса через проходную. Эти обрезки шли в пищу, а истинный хлеб, получаемый по карточкам, на продажу. На вырученные от продажи хлеба деньги покупали картошку. А очистки от картошки, с глазками и без, сдавали для огородных и прочих нужд местным домохозяйкам. В обмен на катушку ниток. С помощью этих драгоценных ниток моя бабушка Ида Вербовская на швейной машинке превращала старые юбки в новые платья и курточки. Товарно-денежные отношения нашей семьи с враждебным ей миром укреплял мой папа. За счет баяна, когда играл популярные мелодии на базаре, привлекая покупателей к прилавку с кустарными новинками ширпотреба бабушкиного производства. Или за счет ботинок и сапог. Их точал, покачивая меня в люльке, в свободные от основной работы часы или в редкие выходные. А свободных часов у него тогда, в Чкалове, на улице Ворошилова, 49, выпадало крайне мало, как, впрочем, и всю жизнь. Или он вкалывал на заводе, по две смены. Или спорил с инженерами и технологами, отстаивая свои изобретения и рационализаторские разработки. Или, виртуоз баяна и аккордеона, выступал на сценических площадках Одессы, Москвы, Риги. Или сочинял музыку, в основном, фрейлехсы, а к ним и поэтические тексты.

Трудовую деятельность, как вспоминал с долей юмора мой папа Арон, он начал, едва научившись ходить. Лет семи он уже мастерил хлебные формы в знаменитой булочной Бенчика. Почему знаменитой? Потому что за ту же маленькую цену у Бенчика можно было купить самый большой в Одессе хлеб. Откуда пошел этот слух? Слух этот шел по Одессе на ногах моего юного папы. Бенчик оплачивал его труд не деньгами. Хлебом. Для подручного своего Арона он выпекал особую буханку, размером с упитанного младенца. И когда папа направлялся в обнимку с пахучей сдобой домой, то все встречные спрашивали у него:

— Где в этой жизни, мальчик, ты достал такой большой хлеб?

— У Бенчика!

Что и говорить, реклама — двигатель торговли. И покупатели не обижались на Бенчика и тем более на моего смекалистого папу, убеждаясь в булочной: за маленькую цену большого удовольствия не увидишь.

В тринадцать лет моего папу Арона, с нарушением всех возрастных норм, приняли в профсоюз и назначили бригадиром жестянщиков. В двадцать один, в тридцать

четвертом, он уже работал в Кремле. Да-да, в том самом, где никогда не гас свет в окне товарища Сталина, как писали стихотворцы.

В Кремль папа попал, будучи проездом в Москве. В 1933-ем, в пору очередного голода в Одессе, он повез свою старшую сестру Бетю в Биробиджан. Там намеривались создать родину для теплокровных евреев непрошибаемого по крепости мозгов Советского Союза. Если Россия родина слонов, справедливо задавались вопросом башковитые аппаратчики, то почему медвежий край не родина для евреев?

«Родина! Родина!» — закричали в Одессе люди еврейской национальности, состоящие из супного набора — костей, сухожилий и хрящей. И кинулись на берега реки Биры за толикой калорий, чтобы нарасти мясо на скелетном каркасе тела.

Оставив Бетю обживаться в таежной глубинке, мой папа Арон двинулся на заработки в Копай-город — так по-простецки называли дальневосточники Комсомольск-на-Амуре. Наяву мечта зодчих Светлого Будущего представляла собой всего лишь землянки и великое множество замерзающих повсеместно ударников труда. Папа сразу сообразил, что пламенные речи вербовщиков — ничто по сравнению с «буржуйками». И стал изготавливать железные печи, с выходной трубой-дымоходом, обогревать Копай-город, уснувший в глубоких снегах. В знак благодарности за выживание комсомольская стройка одарила его брюшным тифом и, погрузив бесчувственного баяниста-жестящика в эшелон, отправила по рельсам умирать в неизвестном направлении. Тут папе и подфартило. Он и впрямь сделал остановку в самой настоящей коммуне, где все бесплатно. Но предварительно очухался от тифа, привычно победив нутряной жадной жизни отупляющий зов смерти. Попав ненароком в Москву без копейки в кармане, он с попутчиком своим Степкой приступил к поискам работы. На доске объявлений прочитали: «Требуются кровельщики-жестящики».

Обратились по адресу.

Их привели. Посадили в машину с конвоиром. И доставили в Кремль. В Кремле сопроводили на чердак. И там, на чердаке, доверительно сообщили: «Крыша у нас поехала. Когда сбрасывали царского орла со шпиля, он пробил дырку в кровле, ее не заделали, вот крыша у нас и поехала». Папа внимательно выслушал кремлевского завхоза. И согласился: крыша у них действительно того... Это надо же, крыша у них, почитай, поехала напрямиком с семнадцатого года, с самой революции, когда скидывали орла наземь, а спохватились только сейчас и бросились на поиски специалистов. Излишне говорить, мой папа был большой специалист по кровельному делу. В Одессе с тридцатых годов жестяная крыша его работы украшает Первое артиллерийское училище, если ее еще не украли. Наш фамильный знак можно встретить в Кракове и Варшаве, на островерхих кровлях костелов. Увековечен он дедом моим Фроимом, а до него и прадедом Арн-Бершем. Еще в 19 веке. Эти люди являли собой настоящих мастеров молотка и ножниц. Они выезжали из Одессы на трудовой променад в Польшу, получая, как некогда маститые живописцы Возрождения, персональные приглашения из мэрии или от именитых горожан. Вот и в Москве все вышло по правилам. И мой папа Арон, не нарушив семейных традиций, благосклонно принял приглашение отремонтировать крышу Кремля не от кого-нибудь, а от Самого... Имя, честно сказать, он не помнил. Да и кто вспомнит теперь этих репрессированных завхозов Советской власти?

Распроставшись с работодателем, мой папа приступил со Степкой к починке прохудившейся кровли. Работали с огоньком. Степке от того огонька прикурить захотелось. Ан не прикуришь, когда папирос нет в наличии. Тут и время обеденного перекура приспело. Кушать хочется, а денег нет.

Что делают люди, когда им хочется кушать? Идут в столовую. Даже без денег.

— Может, какой газеткой перекроемся и хлеба пожуюм на халяву, — предложил Степка, выманивая папу моего Арона с чердака на аппетитный запах.

Столовую нашли. Газету тоже. Перекрылись газетой, будто шибко грамотные, и давай потихоньку хавать. Тут подбегает к ним официантка, вся такая упитанная, в кружевном передничке, с бархатным голоском.

— Что вам подать, того-этого? Не гоже хлебцем хрумкать по-сухому, без сопровождения борщеца с капустой и мозговой костью.

Раскраснелся папа мой Арон от стыда. Раскраснелся Степка.

— Денег, дамочка из пищеварительного треста, нема у нас. Ну, ни копейки грошей!

— А денег и не треба,— расщедрилась девица.— У нас тут полная коммунизма. Мы и без грошей кормим от пуза.

Степка тут же заказал на двоих. От пуза. И от щедрот дарового коммунизма. Чего только он не заказал, вспомнить — удавиться можно в последующие голодные, а они всегда при советской власти голодные, годы. И борщ заказал. С капустой и мозговой костью. И котлет заказал. Картошку в мундире. И репчатый лук. Чай заказал. Конфет-монпансье заказал. Коробок спичек. И четыре пачки шикарных папирос. Все заказал, что душе угодно.

Помнится, пресекал я папу на этом царском заказе и спрашивал, почему он вернулся в Одессу, в отличие, скажем, от Ойстраха и Утесова, Ильфа и Петрова, Маргариты Алигер и Семена Кирсанова? Почему не остался жировать на бесплатных хлебах в хозчасти Кремля, куда был приписан в ходе реставрации поехавшей у большевиков крыши?

И он мне отвечал, разумно и обстоятельно:

— А где бы тогда был сегодня ты? А Сильвочка? Боренька? И кто бы женился на твоей мамочке Ривочке, если бы я остался в Кремле? Брежнев? Да и жив ли я был по тем погодным условиям, если бы остался в Кремле? Может быть, со всеми своими музыкальными и техническими способностями я бы стал не братья Покрасс и не Микоян — Гуревич, на военном языке МИГ, а пропал бы на темных задворках ГУЛАГа, как Мандельштам. Кто знает? А так я знаю, что благодаря изобретенным мной подогревам, бомбардировщики, не обмерзая, долетали на большой высоте до Берлина. И пели Гитлеру небесную-заупокойную: «Нам сверху видно все, ты так и знай». А Герингу, который сказал, что съест свою шляпу, если одна бомба упадет на Берлин, я бы эту шляпу засунул сначала в задний проход, а потом в рот. Пусть скушает ее с нашей начинкой.

Семейные истории, как и вселенские, не терпят сослагательное наклонение.

Арон, сын Фройки, вернулся из Москвы в Одессу. Стал работать на заводе, а по вечерам играть на баяне в парке Шевченко. Влюбился в красавицу-медсестру Ривочку Вербовскую, закончившую школу на идиш, медицинский техникум на украинском и бегло говорящую по-одесски на русском — языке своего бессмертного земляка Пушкина. И сделал ей предложение после того, как она сделала ему безболезненный укол.

Девушка не устояла в свои шаткие восемнадцать лет от предложения выйти замуж. Жених — первый сорт, представительный человек с множеством талантов: метр восемьдесят семь ростом, 96 кг весом, атлетическая фигура с накаченными на кровельных работах мышцами, чемпион Одесского порта по боксу 1931 года в тяжелом весе, популярный в городе музыкант, сочинитель доступных пониманию стихов, начиненных юмором. Ничего больше и не надо для полного счастья!

В 1937-ом папа женился. В тридцать восьмом родилась Сильвочка. В 1940-ом папа, дефелируя по Одессе сразу с двумя молодыми женщинами, женой Ривой и ее младшей сестрой Бебой, встретил у кинотеатра заводского приятеля Абрашу Гросмана.

— Какие чудесные девушки! — сказал вместо приветствия Абраша, не скрывая вспыхнувшего в сердце восхищения.

Надо отметить, он заметно хромал, правда, без особой выразительности, на правую ногу. Этот недостаток, при несомненных достоинствах левой ноги, искупал внешними данными: роскошной гривой, обаятельной улыбкой, быстрым на различные комбинации умом. И все это великолепие увенчивала редкая по тем глинобитным временам, но чрезвычайно модная профессия электрика. Совсем кстати у Абраши на руках оказались лишние билетки, а в грудной клетке щедрое на подарки сердце. И он, «не отходя от кассы», тут же потерял голову от неземной красоты мадмуазель Бебы Вербовской. «По выходе из сеанса» сделал Бебе на месте, людном месте, между прочим, признание в нержавеющей до старости любви. И повел было ее мимо родительского дома в ЗАГС. Но тут им перегородил дорогу дедушка Аврум Вербовский, уже с простреленной рукой, но еще не хромающий. Он увидел хромающего Абрашу, не представляя, что так будет выглядеть и его будущее после лесоповала, и, рассерженный по причине хромоты незваного жениха, вознамерился отказать ему в руке и сердце дочери.

Но если Абраша Гросман говорил: «Хочу жениться», он непременно женился. И так он женился на Бебочке Вербовской ровно в 1940 году, чтобы старший его сынок Гришенька исхитрился-выскользнул из материнского лона прямо под немецкие бомбы 25 июня 1941 года. Точно в тот день, когда мой папа Арон получил официальное письмо-извещение из Москвы, из Государственной фирмы грамзаписи о том, что его фрейлехсы одобрены взыскательной комиссией, включающей в свои ряды чуть ли не Михозлса, и обретут теперь новую жизнь, будучи представлены на авторской пластинке в декабре 1941-го.

Ну а дальше? Дальше еще та музыка. Эвакуация. Южный Урал. МТС. 245-ый авиационный завод. Передислокация в 1945-ом в Ригу, где на улице Барбюса, 9, военный завод переименовался в 85-й ГВФ и разместился в цехах бывшего винно-водочного предприятия, что немало способствовало перевыполнению плана и повышению энтузиазма рабочих, которые приноровились скрытно добывать лакомые напитки из винных подвалов.

Дальше, в 1947-ом году, 20 февраля, через восемь месяцев после появления на свет Лени, второго ребенка, Беба умерла из-за отказа почек, и моя мама Рива выкармливала его той же грудью, от которой отлучала меня незадолго до смерти сестры.

Абрам Гросман, к слову мистическому в подверстку, пережил Бебу ровно на 40 лет, как мой папа дедушку Аврума, и плюс к тому еще шесть дней. Он умер в Таллине 26 февраля 1987 года. Но какой потаенный смысл в этих шести добавочных днях? Однако, если представить себе, что он был старше Бебы на шесть лет, а на том свете не иначе, как день за год, тогда все логически укладывается в какую-то, недоступную нашему разуму систему, этакую космическую мозаику. Так это или не так, не нам судить. Нам помнить!

Дальше, в 1948 году, перед уничтожением еврейской культуры, Советская власть облагодетельствовала моего папу Арона знаком «Отличник Аэрофлота», приравненном в авиационной промышленности к иному ордену. А в 1953-м, уже не пряча оскала саблезубого тигра, собиралась объявить его же, не слезающего с Доски Почета, вредителем. И намылилась отправить всех нас туда, куда Макар телят не гонял. Бог помог. В Пурим. И Сталин скоропостижно отдал Ему душу. А нас оставили сидеть в растерянности на подготовленных к выселению из квартиры чемоданах. По сути дела, оставили в живых. Наверное, потому я и люблю этот праздник. Наверное, и мой сын Рони не случайно родился в Пурим. И не случайно здесь, Иерусалиме. В день, когда обильно шел российский, можно сказать, снег. И не случайно в Пурим 1980

года. Сложим цифры. $1+9+5+3 = 18$. $1+9+8+0 = 18$. 18 на иврите, в буквенном значении, дает слово Хаим, мое имя по-еврейски, значащее в переводе на доступный язык — ЖИЗНЬ. Случайна ли череда этих совпадений? На мой взгляд, не случайна. Да здравствует жизнь! Она тоже не случайна, если ее можно назвать жизнью.

Дальше, в 1977 году, мои родители уехали из Риги в Израиль, в Кирьят-Гат, оставив на еврейском кладбище дедушку Фройку и бабушку Сойбу, урожденную Розенфельд, дедушку Аврума Вербовского и мою тетю Бебу Гросман, а на старом еврейском в Одессе моих прадедушек и прабабушек Арн-Берша с женой и Шимона Вербовского с женой Эстер.

Здесь, в Израиле, папа, нежданно для себя, почти в восьмидесятилетнем возрасте, стал снова из баяниста-аккордеониста композитором.

Как известно, все новое, это хорошо забытое старое. Памятуя о том, мой брат Боря, саксофонист, кларнетист и оранжировщик, создав Иерусалимский диксиленд, переозвучил папины фрейлехсы тридцатых годов на самый современный лад. И повез их после триумфального представления на сцене Иерусалимской академии музыки, где преподает джазовое искусство, на международный фестиваль в Сакраменто, США.

Папа, если серьезно, в его тоне, говорить по существу проблемы, рекомендовал маэстро Боре сделать пересадку в Одессе, там лучше поймут и оценят музыкального младенца шестидесяти нержавеющей лет. Оно и понятно. По его, папиным убеждениям, на Дерibasовской, где открылась пивная, играли на трубе, медных кастрюлях, дедушки его Арн-Берша производства, и даже двуручной пиле задолго до Нью-Орлеана. И причем не как-нибудь натошак, а в сопровождении диких кошачьих визгов. В Америку же все это музыкальное богатство завезли штатовские моряки, не знающие при наличии воровских замашек, что еще такого ценное можно украсть в городе, называемом Жемчужиной у моря, когда в нем уже побывала на променаде Сонька — Золотая ручка.

Но факт есть факт. На творческом мосту, перекинутом через десятки лет, каким-то мистическим образом, в соитии еврейских мелодий и современных ритмов, родилось новое джазовое направление «Дикси-фрейлехс», и несло оно на себе, как и древние крыши Кракова и Варшавы, фамильный наш, отличительный знак. Столь же мистически, не иначе, папины фрейлехсы, прозвучав первый раз над Сакраменто в 1991 году на всемирном марафоне диксилендов, были восприняты публикой просто-напросто восторженно, и затем, согласно проведенному опросу, признаны там самыми популярными композициями, своего рода открытием фестиваля. И слушатели вызвали на бис новоявленного по их представлениям композитора, преисполненного творческой смелостью и молодым задором. А он, находясь на пенсионном довольствии в Кирьят-Гате, узнавал об этих вызовах со слов Бори и его оркестрантов. Так было в 1991-ом и в 1993-ем, в 1996-ом и в 1998-ом, вплоть до 2001-го года, когда папа и захоти даже выйти на приветствия, не мог уже осуществить это позднее желание... по вполне уважительной причине.

Он умер девятого мая, ровно через сорок лет после моего дедушки Аврума, не дожив Всего Трое Суток до своего Дня рождения — до восьмидесяти восьми лет. И покоится невдалеке — по земным и небесным понятиям — от своей жены Ривы и от Иды Вербовской, жены дедушки Аврума и моей бабушки.

Воля небесная? Воля земная? Или скрытая воля войны?



Александр Шерстюк
(г. Москва)



ИЗ ЦИКЛА «СКАЗЫ-КОРОТЫШКИ»

Родился 18.3.1941 г. в с. Пятовск, край Стародубье, Брянщина. Окончил горный техникум в Донбассе (1959), МВТУ им. Н.Э. Баумана (1967). Трудовая деятельность: в шахтах, оборонных НИИ, издательствах. Автор нескольких книг стихов, малой прозы, словаря «Говор Стародубья», краеведческой книги «Зеленая ветвь Москвы», многих публикаций в периодике. Член Союза писателей России (2000), Союза журналистов России. Дипломант XIII Международного Волошинского конкурса (2015). Живет в Москве.

ТРИ РУБЛЯ ОТ ЭСМЕРАЛЬДЫ

Ехал я однажды на своем «жигуленке» по магистрали Гомель-Брянск, тогда, в 80-х, еще, сравнительно с нашим временем, мало... чуть не сказал малолюдной, но правильной все-таки — маломашинной. Магистраль эта проложена так, что небольших районных городов едва касается, а деревни и вовсе остаются где-то далеко в стороне, видны только стрелки указателей поворотов к ним с километрами. Зато любуйся пейзажами сколько хочешь. А в одном месте я даже заприметил ветряную мельницу, старую-престарую, выцветшую, уже и без перьев на крыльях, то есть без полотна, лет тридцать стоящую без работы из-за внедренного электричества, но все еще неразобранную, словно испанский памятник Дон Кихоту на земле русской.

И вот мое любование и задумчивость с ветерком прерываются: на обочине дороги стоит с поднятой рукой юная девушка, по виду цыганочка. Вообще-то я люблю ехать один, чтоб можно было без помех думать о чем-то своем. А тут — ну как не остановиться. Торможу, карета подана, открываю правую переднюю. Цыганочка садится. И пока она примерялась к ремню, вдруг — о, поймался на наживку! — выползает из кустов... тоже цыганочка, только очень древняя, настоящая старуха Изергиль. Пришлось открыть и ей, заднюю левую. Уселись, покатали. Девушки сказали, что ехать им совсем немного, километров семь. Действительно, очень мало, надо успеть что-то сказать сидящей рядом Эсмеральде. Я стал ей говорить, что с ее неземной красотой и грацией ей надо не по деревням шастать, по пыльным проселкам и улочкам, выманивая деньги у доверчивых, а выступать на сцене театра «Ромэн», я знаю Сличенко — хочешь, познакомлю, он возьмет тебя, ты станешь звездой... Изергиль из-за плеча — мне: «А хочешь, она тебе погадает?» — «Нет-нет, ему не надо, он сам все знает», — открыла наконец прекрасный ротик Эсмеральда.

На самом деле никакого Сличенко я не знал, но при необходимости мог бы выловить и преподнести ему мою прелесть, я человек слова. Не только слова, но и дела. А поэтому не очень и врал. Преподнести руководителю театра именно невиданную

прелесть, хотя к цыганам отношусь так, как только может относиться я — человек, у которого цыгане в детстве стырили топор. Мы жили в лесном поселке, я двенадцатилетний, каждый день отправлялся в лес за дровами, с топором, конечно. А топор-то был уникальный — немецкий, трофейный, саперный, отец с войны привез. У этого небольшого топорика была такая сталь, такая сталь — я им гвозди перерубал. И вот как-то я оставил мой топорик на колоде, сам отлучился, а колода-то во дворе, а двор-то беззащитный, то есть беззаборный, прилегает прямо к улочке, по которой-то за день едва пройдет один-два человека, какой-нибудь сосед, и все. И вот я возвращаюсь к своей колоде, а топорика уже... тью-тью, нема. Кинулся туда-сюда, нет и все. Я к соседям: «Да тут две цыганки прошли». Цыганки прошли, но и время тоже прошло, кинулся искать цыганок, их и след простыл. С топориком они, наверное, ускоренным шагом промаршировали куда-нибудь в лес, благо, он рядом, к нам ужи во двор заползают, пьют молоко из кувшина, если мама не закрыла сковородкой...

Но это я вспомнил некстати, моя-то цыганочка тут при чем? Недолго я, однако, ей зубы заговаривал. Вот уже Изергиль просит меня остановиться, приехали, спасибо. Я взглянул на Эсмеральду. В печальном взгляде: нет, никаких театров и Ромэнов быть не может. Просто невозможно. Они снова пойдут по пыльным деревенским дорогам.

Когда стал отъезжать, положил руку на рычаг коробки передач. И вдруг увидел, что у подножия его, на резиновой гофре, лежит зеленая трехрублевая ассигнация. Тайная плата за проезд. Или явная благодарность за восхищение?

МОЛОТОБОЕЦ С ПОЛТАВЩИНЫ

Вдруг получаю письмо. Из далекого-далека женщина сообщает, что нашла в сети мой эмейл, мы земляки, учились в одной школе, правда она шла годом позже, а в моем классе училась ее старшая сестра Жанна.

Жанна! Вот это штука. Была, была с таким диковинным именем девочка. Такого имени не было, пожалуй, во всем районе, а не то что в нашей деревне. (Правда, были на селе два Жоржа, самые обычные рябые мужики, но почему-то не Егоры. Один из них, инвалид войны, был объездчиком, прозывали его Кибиткой, он хлестал пугой пацанов, забравшихся в колхозный, например, горох; умер он по ошибке — выпил, похмеляясь, кружку с керосином. Второй Жорж был у моего отца молотобойцем, сам гигант и молот пудовый. Так что с Жоржами дефицита не было. Но отставим этих бойцов ударного труда.) Жанна! Следующей Жанной, которую я по жизни встретил (прошло несколько лет), была лишь Жанна д'Арк, и то в учебнике.

С Жанной я не дружил. Была она какой-то отчужденной. Вообще она была не из крестьянской семьи! Приехали откуда-то они, странные люди, не крестьяне, поселились в хатке, нивой не занимались, отец Жанны стал работать, опять же, молотобойцем (Жорж-богатырь был уже потом). Ну и приходил он к моему отцу на дом, душевно были расположены. Помню стаканы с самогонкой (отец себе наливал полстакана этого напитка, вторую половину наполнял медом, размешивал, глотал — у него была жесточайшая язва желудка). Вели разговоры. Запомнилось поразившее: «Не хватает Пугачева! Пошли бы на Москву!!» — говорил отец Жанны. «Да-да!» — поддакивал мой отец.

Позже, когда я купил толстенную тетрадь и сказал отцу: «Опиши свою жизнь», он в своих записях среди прочего вспомнил, как его вызывали в район, допрашивали: «Что говорит твой молотобоец про политику? Отвечай!» Отец отвечал, что его напарник несет какую-то чепуху, будто был в Москве видел Ворошилова, Молотова. «Да кто ж яму поверя? Бреша ен!» — заключал отец. Следовательно, вместо того, чтобы арестовать отца за неверие в демократию, записал его слова и отпустил дальше махать молотком.

А потом, тогда, в далеком 1953-м, семейка этого молотобойца-пришельца куда-то исчезла, растворилась, я лично, хоть и было мне всего 12 годиков, подозревал, что новая пугачевщина у нас надежно пресечена.

И вот, о, чудо, этот эмейл. Сестра Жанны пишет, что отец ее был танкистом, в Харьковском сражении в мае 42-го года попал в плен, из плена дважды бежал, но ловили, избивали. Освободили американцы, предлагали ехать в Америку, дескать, на родине тебя ждут лагеря, распишитесь собственноручно, сэр, вот здесь. Но бывший танкист Ветренко, до войны бывший парнем Ветренко с Полтавщины, собственноручно зачеркнул все пустоты на листе собеседования и подписал только то, что рассказал. Ехать за бугор, точнее, за океан, согласия не дал.

Его, конечно, наши органы обнюхивали со всех сторон. В итоге зачислили в категорию «противостоял фашизму» (нашли-таки немецкие документы, что бежал из плена). Если бы был просто пассивным, молчим уж о пособничестве, то в лучшем случае отправили бы восстанавливать шахты Донбасса (так отправили моего знакомого, бывшего узника Освенцима с татуировкой №77722 и звездой Давида, у которого всю родню немцы «пустили в трубу», а он выжил, потому как нужно же было кому-то таскать кирпичи). И вернулся Ветренко в свою семью, продолжавшую жить где-то в эвакуации, к двум своим невиданным девочкам, и поехали все вместе на историческую родину жены, в мою деревню. Девочки, как и все тогда, ели лебеду и возили в город продавать щавель, собранный в жарких лощинах, 5 копеек за пучок, столько же стоило стальное перышко, писать чернилами.

А потом подруга жены, работавшая в сельсовете, выкрала ее паспорт, и втихую по-быстрому укатили они в один из южных городов, где до войны жена работала в столовой, да и устроились там оба, он — электриком. Потом был съезд №20, пересмотр дела, в военкомате ему вернули ордена и даже предложили заново стать членом партии. Но он не захотел.

Обе девочки получили высшее образование. Родители давно умерли, Жанна тоже недавно, 76 лет.

Пожалуй, и, правда, врал молотобоец Ветренко, что видел живых вождей.

ХУДОЖНИК RONA В МЕЛЬБУРНЕ

Художник Rona в Мельбурне рисует портреты женщин в заброшенных домах. На голых стенах. И это впечатляет.

А у меня перед глазами пример противоположный.

Мария гордилась сыном. Сын выучился настолько, что в бандитские 90-е уехал в Торонто, получил хорошую работу в хорошей фирме, обзавелся домом и дачей на Гуроне, горнолыжным отдыхом в Альпах.

Мария каждое лето летала за океан, жила у сына. В России случайным собеседникам порой говорила: «А вот в Канаде...»

В России она жила в квартире, принадлежавшей сыну, ему дали ее бесплатно, пока он здесь аспирантурил и написал диссертацию всемогущему шефу. То есть дали за то, что бесплатно учили.

Себя Мария любила не меньше, чем все люди любят себя. Одну стену посвятила его, повесила портрет своих юных дней, большой, в рамке под стеклом, сделанный с черно-белой фотографии, но художественно раскрашенный. И вдруг обнаружилось, что к портрету нельзя притрагиваться — напыленная краска осыпается. Здесь «притрагиваться» рифмуется со словом «трагедия». То есть Мария была ужасно расстроена. Идти к мужикам, которые схалтурили, не обсыпали лаком краску, дабы держалась, ей было страшно.

Мария приехала из провинции и ужасно боялась предъявлять кому бы то ни было, какие бы то ни было претензии. В Москве ее обманывали на каждом шагу, такой жизни она не понимала, но ничего поделать не могла.

Пришлось вмешаться брату, пойти в портретную контору и мягко потребовать перевыполнить заказ. Что было исполнено без звука и без денег, быстро и качественно. Больше портрет не осыпался. Мария была на нем в расцвете юных сил, поэт об этой фотографии писал: «...блоковский возвышенный запрос и в облике, и в облаке мышленья».

И вот Мария умерла. Сын квартиру продал. Пакуя наследство, несчетное число магазинных тележек свез на свалку, в том числе 8 толстостенных фотоальбомов, этапов большого жизненного пути — самолет не резиновый, все не впишешь. Впрочем, фотографии были изъяты и уложены в пакеты.

Брат Марии пришел забрать лишние книги. На полу среди бумажного мусора он увидел смотрящий на него глаз Марии. Это был клочок ее цветного портрета, случайно не доехавший до помойки — был уронен.

Здесь слово «уронен» рифмуется со словом «рана».

И с художником Rona тоже.

СМЕРТНЫЙ ГРЕХ НА БУКВУ «ЗЭ»

Вы не знаете, какой смертный грех начинается на букву «зэ»? Тогда расскажу.

Жили-были Мария и Зоя.

Жили-дружили в одной комнате, пока учились в пединституте, в Смоленском, факультет историко-филологический. На каникулах ездили в гости друг к другу, обе были из одной области, брянские, сельские. Обе получили красные дипломы. А потом их распределили, но по-разному. Марии выпало работать в городе на Смоленщине, Рославль называется. Когда проходила преддипломную практику в этом городе, организовала в школе хор, школа стала более заметной, вот директор и написал в институт, чтобы Марию распределили к нему. А Зое выпала общая участь — поехать на три обязательных года на край Союза, в Таджикистан, учительствовать в ауле.

Расставшись, они переписывались. Здесь Мария в судьбе Зои сыграла свою филантропическую роль. Соединила Зою и рассорившегося с нею парня, все были из одной студенческой среды, написала им обоим убедительные письма. Ссора у них затянулась на год с лишним, и после института все уже жили в разных концах страны. Мария сумела найти такие слова каждому из них, что они и помирились, и потом съехались в России, и поженились, и понарожали детишек, и прожили вместе всю жизнь. А не написала бы Мария, скорее всего трещина между ними не склеилась никогда.

Вообще Мария умела писать убедительные письма. С такой распаханностью душевной, что и в самых очерстневших натурах начинали пробиваться зеленые ростки. Переписывалась Мария со множеством людей, писала им, спутникам своей юности, не только вскоре после расставания, на свежести чувств, но и через десятки лет. А сказанное о филантропической роли — это не только о вербальном уровне. Нет, Мария всю себя отдавала людям, тому примеров множество, но идем дальше.

На восьмом десятке Мария стала писать книги. «Жизнь моя, или ты приснилась мне» — так называлась одна из книг, это же название подходит для всего сериала. Книги о своей жизни и, конечно, обо всех-всех. Книги со множеством фотографий — о, этих фотографий у Марии было с десятков толстых альбомов, она ценила запечатленные миги. Издавала книги небольшими тиражами, для раздачи действующим в них лицам. Послала и Зое.

И вот здесь наш контрапункт. На Зое споткнулась Мария, так неожиданно. Рассказывая в книге о своей подруге, Мария употребила слово «упорство». Своим упор-

ством Зоя в науках добилась отличности в учебе. Своим упорством в гимнастике добилась кандидатства в мастера. В ответ Зоя прислала: «Ты мне больше не пиши».

Да, именно так: «Ты мне больше не пиши».

Так 77-летней Зоей была предана 60-летняя преданность Марии ей. А разве виновата Мария, что у нее не было склонности к гимнастике, но был голос. Всю жизнь она пела и сольно, и учила других не только истории, но и петь. Она хотела петь со всеми.

УТОНУВШИЙ В ПОЖАРНОЙ ПЫЛИ

Марк Григорьев — поздний журналистский псевдоним Марка Григорьевича Шпильберга. Я с ним познакомился в 1961 г., мы оба учились в МВТУ им.Баумана, оба сотрудничали в институтской многотиражке «Бауманец», которой я, по тогдашней актуальности, придумал псевдоним «Женьминжибауманец». Голос у Марка был густой, иерихонский, а сам он был щупл, светел, по типуажу походил на другого Марка — Бернеса. Еще заметен был он тем, что евреев в Бауманку не принимали, а тут на тебе, да еще с такой «высокогорной» фамилией. Я знал, что он из подмосковного города с ужасным названием Электросталь. Расхваливал он вышедший тогда лихой американский фильм «Великолепная семерка». Когда его в чем-нибудь упрекали, отвечал: «Но я же хороший!» Помню, он опубликовал стихи, где были такие строки:

*Алибекский ледник —
он легенду хранит
про абрека Али,
конокрада Али,
утонувшего в снежной пыли.*

На Кавказе, в Домбае, у бауманцев была база отдыха. Ледник неподалеку.

Учились мы на разных факультетах и курсах, Марк шел года на два раньше меня. О нем рассказывали, будто бы в общежитии в Измайлове он, находясь у друзей, учинил хохму: изготовил чучело человека, привязал к нему бутылку с красной краской и посреди ночи выбросил из окна высокого этажа, с диким воплем. Была весенняя сессия, студенты не спали, многие окна общаги горели светом и были распахнуты в звездное мироздание. И вдруг душераздирающий крик и падающий вниз человек, глухой стук об асфальт, кровь... В общем, любил Марк яркие моменты жизни.

Однажды я ехал к приятелю — тоже студенту-бауманцу, тоже, как и я, из Донбасса, но жившему с женой на частной квартире. Собирались что-то отметить, у меня была бутылка коньяка. И вдруг вижу в трамвае Марка, приглашаю присоединиться. Приехали на Библиотечную улицу, стали смаковать коньячок и трепаться. Мы вспоминали шахты, Марк рассказывал про Казахстан, где он раньше бывал, про бешбармак, как его едят — «пятью пальцами»...

Как-то он меня наделил мохеровым шарфом — в то время очень модным, редким. Шарф мы располовинили, но вскоре мою коротышку украли в раздевалке студенческой столовой.

Потом жизнь закрутила нас в совершенно разных вихрях, мы не «пересекались». Когда в Бауманке появился Эдмунд Иодковский, который вел литобъединение и приводил на наши собрания разных уникалов, от Дира Туманного до смогистов, Марка уже не было.

Через много лет я увидел публикации Марка в журнале «Юность», он писал большие, с продолжением, очерки про стройку века — БАМ; видел что-то его я и в журнале «Рационализатор и изобретатель». Перо его уже имело псевдоним, но

«идентифицировать» было легко — в «Юности» печатали его пусть маленькое, но хорошо узнаваемое фото.

О трагедии 23 февраля 1991 года в Ленинграде я узнал из знаменитой в то переломное время телепередачи «600 секунд» Александра Невзорова. Было названо имя погибшего в огне, профессия, даже мельком показаны останки — что-то вроде груды пепла.

Потом разными путями я выведал, что Марк находился в Питере по заданию коротичского «Огонька», готовил статью по рыбной мафии, уже собрал материалы. Не было сомнений, что его убили и, дабы замести следы, устроили «большой костер». Пожар произвел сенсацию также тем, что в нем сгорела целая группа тушителей, тогда говорилось о 15. Писали и о том, что во время этого пожара спасли — спустили по пожарной лестнице Марину Влади, жившую в гостинице этажом выше.

БЕГЛИК ТАШ

Очарованный и пораженный, делаю я эту запись. В Болгарии привезли меня в место, у которого есть название, но нет объяснения. Находится это место в бывшей заповедной зоне, куда при прежней власти пускали только верховного правителя страны. Огромные тысячетонные булыги навалены в необъяснимом порядке на сравнительно небольшой площадке. Сравнительно с чем? Ну, например, с вашим двором вместе с детской площадкой, где особенно не разгонишься, или с чашей стадиона, где разогнаться можно, но по доньшку. Булыги — разных размеров, на один из них можно взобраться, сначала по растущему рядом дереву, а потом еще прошагать вверх, уже по склону этого камня. Охотников, готовых проделать это, мало, но некоторые подростки из поколения зацеперов таки залазят.

Камень называется по-научному сиенит. Официальное объяснение такое: образовалось это семь миллионов лет назад, когда взорвался вулкан. Странно, однако, что осколки вулкана не похожи на взорванный небоскреб. Они уложены архитектурно, композиционно, как-то сложно, вычурно. Одна группа характеризуется как самый большой дольмен на земле. Ну да, внешняя схожесть с дольменами есть. Но дольмены ведь сооружения функциональные, предназначались для захоронения, что-то вроде склепов, и возраст их не миллионы лет, а всего лишь «старше египетских пирамид». А тут что? И форма сооружения такова, что народное его прозвание «Вагина». Говорят, здесь было фракийское святилище. В одном камне высечена выемка наподобие кресла — здесь был трон жреца, он вел действие с жертвоприношениями. Допустим. Но кто обтесал эти мегаосколки, скруглил, поставил друг на дружку всего двумя точками опоры или почти впритык, с узкой вертикальной щелью, так, что туристы могут вщемляться и подползать, чтобы сделать впечатляющие снимки, — кто это подготовил?

Мы знаем валуны, принесенные ледником на равнины Европы, будто специально разложенные здесь для нужд хозяйства. Одну громадную гранитную булыгу притащили в Санкт-Петербург и обтесали под «медного всадника». Тащили волоком, впрягшись, тысячи мужиков, обвязав скалу веревками и подкладывая бревна. Но Беглик Таш все-таки размерами сильнее превосходит ту булыгу и не принесен, как утверждают очевидцы, ледником, ибо следов последнего здесь не обнаружено. Очевидцами я называю людей, которые смотрят на вещи очами науки, а не третьим глазом. Но как раз эти-то мужи ученые, хоть и приезжают сюда подзарядиться энергией язычества и укладываются на «брачное ложе», ничего толком про Беглик Таш сказать не могут. Возможно, потому, что простыней на ложе лежит слой оставленных монет — символа нашего меркантильного времени, где все покупается и продается, даже в святилище, даже у идолов.

Как непонятно и то, почему на входе в это заповедное место сооружена вышка для расстрела кабанов и оленей — неужели стрелявшие здесь, на семимиллионно-летней поляне, пришельцы из XX кровавого века свято блюли традицию — приносили свою жертву?

ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДУБЧЕКУ

Хороша страна Болгария.

Сидим в летней кухне в селе Маринка, что вблизи Бургаса. Ракия домашнего приготовления, форель, поджаренная на скаре. Хозяйка — молодая женщина, историк в школе. Ее дочь, ее копия — девочка Бажанка, завтрашня, с 15 сентября, первокурсница, неугомонная, как ртуть, то и дело рвет наш разговор предложениями посостязаться. Сначала — в «борба» (рукоборство, есть такое жуткое слово — арм-рестлинг), всех уложила, потом в жмурки, потом еще во что-то... Бажанка неизменно выигрывала. Неизменно побеждала дружба — учтивость взрослых.

Спрашиваю хозяйку о предстоящем празднике 9 сентября — дне освобождения Болгарии от фашизма. «Как раз в этот день родилась моя жена», — говорю, сам очарованный таким совпадением. «У нас сейчас пересмотрена история, отношение к этому дню изменилось», — отвечает хозяйка... Секундная тишина, незримый щелчок, тема переключается. Обсуждать смысл исторических событий? Что Болгария, пусть без войск на советском фронте, но была в обнимку с Гитлером, отдавшись ему всеми ресурсами? Что потом было без единого выстрела советское присутствие и «стоит над горой Алеша»? Что теперь, когда Алеша назван оккупантом, жители Пловдива не позволили его снести? Зачем об этом спорить? Лучше пусть победит учтивость.

И мне вспомнился схожий разговор, давний, в конце 80-х. В Яблонце, в Чехословакии, я видел раненый угол кирпичного здания на центральной улице, отбитый выстрелом советского танка. Потом нас, двух залетных птичек из СССР, принимал мэр этого центра стразовой бижутерии, мы находились в его кабинете. Кинулось в глаза: там, где у нас в то время еще висело Политбюро в галстуках, здесь красовались короли в мантиях. Я спросил мэра, как он лично относится к Дубчеку. После событий 1968 года, когда, по шутке, наша дружба с ЧССР не знала границ, отправленный в отставку глава коммунистов этой страны доживал свой частный век. Из контактов с чешским рядовым окружением мне было известно, что люди с надеждой смотрят на начатые перемены в нашей стране. «Мое личное отношение к Дубчеку? — Официальное», — ответил мэр.

Так мог ответить чудесный идиот Швейк.

И это понятно.

Так уж устроено людское сообщество — мало кто распахивает душу, не получив официального позволения.

ИСТОРИЯ С ИОСИФОМ

Еврейский вопрос едва ли не главный в моей жизни. Тысячу историй-пересечений могу рассказать, для начала хоть вот эту.

Иосиф Меерович Коган достался мне по-родственному. Хотя еврейских кровей во мне нет. Даром что мама была Моисеевной. Но ведь и хороший мой знакомый, игравший мне на аккордеоне, Михаил Моисеевич Кибкалов, Герой Великой Отечественной, сбивший 17 самолетов врага, не был этническим братом Михаила Моисеевича Ботвинника, героя шахматных баталий.

Впрочем, не знаю. Вот если генетики найдут ген пророка Моисея сначала в сы-

нах Израилевых, и потом найдут его во мне, крестьянском потомке со Стародубщины, и найдут в летчике, крестьянском потомке с Полтавщины, тогда теорема будет доказана, почему бы нет.

Ося Коган достался мне через сестру Марию, вышедшую замуж за Самуила Давидовича. Ося был ему двоюродным братом. И жили они в провинции.

И вот провинция двинулась в столицу. Получив золотую медаль за школу, Ося решил поступать в мою Бауманку, где я уже закончил три курса. Я одобрил, он приехал сдавать экзамены. И тут досада, первый же экзамен — физика — двойка. Какое там существительное можно образовать от глагола опешить? То, что мы пешки?..

Сказать по правде, я не был готов тогда к такому повороту событий. Я был наивен и слеп, не всматривался в среду, где находился. Да, после второго курса мы поехали на целину, а с нами отряд старшеклассников от подшефной школы №345, у них старшим был Саша Либерман, у него дядя был ректором университета в Израиле, и я как-то спросил его, куда он будет поступать после школы — в МВТУ? — «Только не в МВТУ», — ответил он, а почему, не объяснил. Были и другие сигналы особого положения Бауманки, но я не обращал на них столь же особого внимания. В многотиражке вуза, где я стал готовить тематические полосы, главным редактором была Клара Аркадьевна Русакова, замечательный человек, и вообще русифицированные в Бауманке попадались, попадались...

В общем, завалить физику золотому медалисту — это был какой-то вызов, и я записался на прием к ректору. Прием был назначен дней через двенадцать, раньше никак. Ректор — он потом стал академиком РАН СССР, Героем Социалистического труда, лауреатом Государственной премии и пр., а тогда среди ряда важных титулов имел и такой — заслуженный деятель науки и техники. Все ему рассказываю: двойка никак *не заслуженная*, я, успешный бауманец, с этим абитуриентом занимался, золото его медали нефальшивое. Георгий Александрович Николаев, знавший все основные европейские языки, сказал мне ясным русским слогом: он может разрешить пересдачу, но ведь мой протеже уже *физически* (опять эта физика!) не успеет, осталось три дня, а экзаменов — пять...

На следующий год Ося поступил в железнодорожный, где раньше учился его братеник — вышеназванный Самуил Давидович, видать, там не было бауманских ограничений. Успешно окончил, стал работать в научном институте в Черноголовке, женился. Приезжал ко мне, упоенно читал наизусть Хайяма. Говорил, что лучше горы могут быть только горы. Увлёкся он скалолазанием, покорял семитысячники, стал кандидатом в мастера спорта, шел к титулу «снежного барса». Показывал, как он может, вцепившись одними коготками, одной руки, повиснуть на скале — что я, при всем моем, никогда. Его мама, тетя Соня, и жена его оттаскивали от опасного увлечения, он даже дал слово, что вот поднимется последний разок и завяжет.

Разок этот стал для него действительно последним. Уже заканчивалась альпинистская экспедиция, уже день был последний, завтра возвращаться. Решили сделать его тренировочным — взойти на четырехтысячник, Тютюбаши называется. Сверху ему крикнули «Берегись!», голову надо было прижать к скале, а он глянул вверх, и тут ему прилетел привет от Всевышнего — сорвавшийся камень тютюкнул его романтическую баши. Возвратился Ося запаянным в цинк.

Здесь ему тоже не выпала пересдача.

ПОРТРЕТ ЛАВРЕНТИЯ

Поносили-поносили (от слова «понос») Берия, который «вышел из доверия». Но вот наступили («нас тупили») иные времена, взошли иные имена. Новые имена стали

Берию возносить — и бомбу он сделал, и жене не изменял (некогда было!), а если шпионил, то в пользу нашего прогрессивного лагеря, молодец.

А я вспоминаю свои личные отношения с Лаврентием. Было мне лет пяток, лежу я напротив печки на настиле с дерюгой и смотрю на стену хаты. Стена белая, поштукатуренная, и висит на ней портрет, величиной в половину меня. Портрет без рамки, без стекла, просто белый глянцевый лист бумаги. Прибит к стене *щикатурными*, как у нас их называли, гвоздичками — тонкими, длинными. Чтобы шляпки не проваливались через глянec, на гвоздики нанизаны многослойные бумажные квадратики, сложенные из газеты. Портрет этот принес из лавки мой отец, дали на сдачу вместо мелочи. Может, мелочь и была, но надо же выполнять план и по выручке, и по членам Политбюро. И то ладно: украшений в хате никаких, даже ни образка. Мой отец-коваль верил только в молоток и наковальню, да еще в свою молодость, когда был НЭП и красные девки, а образ «мы кузнецы и дух наш молод» был отчеканен на серебряных полтинниках.

Почему именно этот портрет, не знаю. Тогда если какие популярные имена произносились, то Ворошилов, Молотов, Штепсель и Тарапунька. А главным был другой, но его имя произносить избегали. Это вроде как древнего страшного Бэра называли описательно «мед ведающим», который однако оставил свои следы в языке — и в виде *берлоги*, и в виде *Берлина* с косолапым на гербе.

И вот лежу я под портретом и читаю под ним подпись по буквам, только-только сестра научила складывать звуковые кирпичики из азбуки: Л... а... Ла... вр... врен...т... тий... Пав... ло... вич... Бер... и... я...

Так я учился читать. Радостное было событие. Это помню. А вот, чтоб МАМА МЫЛА РАМУ — ей-ей, не припоминаю.

Игрушек в доме не было. Ни плюшевых, никаких. Но был-был у меня в детстве свой Бэр и... И был рядом маленький я.

ОКУРОК ВЫСОЦКОГО

Передаю, как слышал.

Моего знакомого Н., сейчас на пенсии известного археолога, а в молодости работавшего в «органах», направили в те времена в новый, недавно родившийся, пламенеющий красным квадратом эмблемы театр на Таганке, чтобы оформить на должность следящего за пожарной безопасностью. Ясное дело, следить надо было не только за вероятными источниками возгорания, но и за опасностью возгорания идеологического.

Прибыл Н. со своим наставником в театр, осмотрели закоулки здания, добрались до сцены. Там была группа актеров и среди них Высоцкий, начинающая восходить звезда. Поздоровались, представились. Тут Высоцкий, кончив курить сигарету, бросил окурочек за сцену. Новый пожарник, еще даже не вступивший в должность, сделал артисту замечание. «Да пошел ты!..» — раздраженно буркнул Высоцкий, вроде даже послал незваного режиссера на три буквы. В тот же час Н. сказал своему наставнику: «Не хочу я здесь работать!..»

Выслушав археолога, я поведал ему свою забавную историю. На автобусной остановке девушка, выкурив сигарету, бросила окурочек под ноги, на асфальт, хотя урна находилась в метре-полтора. Я был близко, сделал шаг к окурочку и опустил в разверстый зев по назначению. Прodelал это молча, на девушку и людей не смотрел. Но она видела, и все все видели. И хорошо, что видели. Девушка не смогла послать меня на три заветные буквы.



Яков Шафран
(г. Тула)

«ЖИВИТЕ С ДРАЙВОМ!»
(фельетон)



Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

«...Благо равнодушным! Благо тем, которые в сердечной вялости находят для себя мир и успокоение! Личное их благополучие не только не подлежит спору, но может считаться вполне обеспеченным. А ничего другого им и не нужно. Но пусть же они знают, что равнодушие в данном случае обеспечивает не только их личное спокойствие, но и бессрочное торжество лгунов-человеконенавистников. И, сверх того, оно на целую среду, на целую эпоху кладет печать бессилия, предательства и трусости».

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин,
«Пошехонские рассказы»

Искусство лжи, процветавшее всегда, ныне — из года в год — становится все более и более легким делом. И целей для нее предостаточно, хотя понимают их далеко не все, озабоченные в основном своими, слабо осознаваемыми, но сильными желаниями и чувствами-эмоциями. Отсюда и мелкотравчатость насущных целей большинства современных людей. Скрыть часть зарплаты от домашних, скрыть двойку от родителей, обманным путем получить поощрение от начальства. Но чем дальше, тем все более и более за этой милой ложью проступает одна большая и всеобщая цель — получение в той или иной форме материального блага. А это и есть самая большая общечеловеческая ценность — ее величество прибыль.

А там, где есть величество, соответственно, есть и его служители. Про «мелкотравчатых» не будем, скажем лишь, что они всегда служили почвой для более крупных, вплоть до тех, кто этих «травоядных» поедает да приговаривает: «Все хотят есть и едят, и не моя вина в том, что у меня аппетит больше, чем у других...» Да, деньги, деньги... Чтобы их больше тратить, нужно больше зарабатывать, но зарплата ведь не резиновая, даже у тех, кто много получает. Есть, конечно, кредиты, ипотека... Однако их нужно отдавать. Расходы увеличиваются... Они загоняют многих в денежную петлю.

Простому же обывателю и невдомек, что он и есть начало начал сей всеобщей борьбы за прибыль и великой лжи ради ее получения. Он привычно чертыхается на теле- и радиорекламу, разные «Вестники здоровья» и листовки многочисленных фармацевтических фирм, на зазывания многочисленных распространителей и торго-

во-рекламных агентов, на вездесущее и вечно живое «Живите с драйвом!». Хотя его-то хотения, а также равнодушие и желание обманываться, и есть основа их неистребимого существования и активной деятельности. Чтобы денежный поток был изобильным и непрекращающимся, необходимо беспрепятственно залезать в карман своих «ближних». Это старо, как мир. Но гораздо практичнее и проще это делать опосредованно... «...Спрашивается: когда и какой бюрократ предлагал что-либо иное? — Никакой и никогда. Напротив того, не были ли они все и всегда на сей счет единодушны?»* Вот и у нас кое-где и кое-когда такое происходит, не правда ли?..

И идет наш обыватель по улице и, в один прекрасный день, замечает, что все тротуары на ней перерыты — вздыблена вся плитка на них. Сворачивает на другую улицу — та же картина. И на третьей, и на четвертой экскаватор крушит тротуар, а там, где ему не подступиться, ломом орудуют рабочие. Во всем городе меняют плитку. «Зачем? — сам себя спрашивает обыватель. — Лежала ведь нормально, не спотыкались, не проваливались... А раньше вообще асфальтировали — лет на десять хватало!»

Такая картина всеобщей великой перестройки тротуаров поневоле заставит обывателя представить себе, сколько же денег требуется для всего этого. И невдомек ему, озабоченному собственным существованием, а теперь еще и спотыкающемуся на каждом шагу из-за созданных рытвин, и вынужденному лавировать между кучами песка и мельчайшего гравия, сложенными штабелями новых плиток и сваленными в кучи же старых, инструментами и спешащими гастербайтерами, а также старающемуся не сломать себе ногу и не получить сотрясение мозга при падении, оступившись на остановках при посадке в транспорт, невдомек ему, что там, где для работы требуется много денег, их во много раз больше выделяется. Ибо существует, уже не общечеловеческое, а одно, истинно наше, старое российское занятие — «распил». «Спрашивается: когда и какой бюрократ имел что-нибудь сказать против этого? Когда и какой бюрократ не изнывал при мысли о лишней тысяче? Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? — Никакой и никогда»**. А чем наш местный бюрократ хуже других? И он, стало быть, кое-где и кое-когда может. Не правда ли?..

Какое образное выражение — распил. Распиливать можно древесные, металлические, каменные и иные материалы. А можно «распиливать» и денежные средства, проще говоря — бюджет. А чтобы больше доставалось *заинтересованным лицам* от этого самого действия, необходимо, чтобы больше выделялось, а для этого нужно, в свою очередь, привлечь как можно больше *сильно действующих лиц*. И мало того, чтобы много доставалось, но еще желательнее и как можно чаще — с плиткой особо не почастишь, конечно, люди потеряют терпение, — ну, так (по психологии) не чаще раза в три года, например. Поэтому и гастербайтерам поставили такие сроки, чтобы они торопились. А там, где спешка, как известно, качество не очень. Вот на три годика и хватит...

Тяжело обывателю ходить по таким улицам. Потому, наиболее ушлые, стараются дворами, дворами передвигаться. И тут... беда ведь одна не ходит, — в разных местах, но опять же по всему городу ямы, из которых идет пар — октябрь месяц, прохладно. «В чем дело?» — интересуется обыватель у рабочего, ставящего вокруг одной зияющей в земле ямы ограждение. «Трубы горячей воды ремонтируем», — отвечает тот. «Как, все разом, везде?» — «Ну, да, отопительный сезон начался, а напора нет, значит, потекли...». — «Так ведь летом, а кое-где и весной, на две — три недели отклю-

* М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк «Новый нарцисс, или Влюбленный в себя» (1868 г.)

** Там же.

чали горячую воду для профилактических работ?!» — «То летом, а то сейчас...», — глубокомысленно отвечает рабочий.

Идет наш обыватель из двора в двор — везде ямы, из которых видны трубы и пар, идущий от них, ограждения вокруг ям и фонари на них (которые по ночам, кстати, почему-то не горят...). Проходит месяц, другой... Уже и плитка везде уложена, а с ямами «воз и ныне там». «Ну, хорошо, починили трубы, а зарывать-то кто и когда будет?» — думает.

И опять же невдомек ему, не до конца, не до корней одурманенному несвойственной русскому человеку «общечеловеческой ценностью» —прибылью,— что кто-то, возможно, ждет, когда ударят морозы да повалит снег, чтобы отрапортовать, что неисправности, наконец, устранены и ямы пора зарывать. Ведь земляные работы зимой гораздо дороже, чем летом и осенью. А раз так, то и денег должно быть выделено гораздо больше, и пресловутый кровный и привычный распил будет несоизмеримо больше.

Невдомек... На том и стоим. И слава Богу, ибо если удивляться, то можно от удивления и в соляной столб превратиться.

Живите с драйвом, дорогие россияне!..



Николай Макаров
(г. Тула)

КРАСНОЗНАМЕННЫЕ АФГАНЦЫ



Наш постоянный автор, член Союза писателей России, Российского Союза ветеранов Афганистана, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ

*Бондарев Геннадий Михайлович,
родился 05.08.1953,
умер 12.05.2011 в Туле.*

— Михалыч!

Так к нему уважительно-дружески обращаются сослуживцы, которых у него за тридцать лет службы в Армии (в Советской Армии, в Российской Армии) великое множество. Сослуживцы, с которыми он прошел (два раза по два года) Афганскую войну. Хотя официально войны и не было, и законов военного времени не существовало.

— Только однажды (!) за все мои четыре года пребывания за Речкой, — вспоминает гвардии полковник запаса Бондарев Геннадий Михайлович, — офицер отказался идти в бой. Его не судили, его отправили в Союз, его уволили. По-тихому. Не тронь дерьмо...

Резко. Грубо. Прямолинейно. Не кривя душой. Да...

Он всегда такой: и в Киевском военном училище; и в Академии имени Фрунзе; и на должности командира 51 Тульского гвардейского парашютно-десантного полка; и будучи Военным комиссаром Советского района Тулы. За правду, за своих подчиненных он всегда был готов (почему — был? Он и сейчас не изменился!) идти до последнего, идти, не оглядываясь, с открытым забралом в штыковую атаку.

Он чем-то похож на Суворова: конституцией тела; взрывным характером; неуживчивостью за свою прямоту с начальством; бескомпромиссностью своих взглядов и суждений. Я с ним вместе служил и знаю о нем не понаслышке.

— Твой первый бой? — Задаю ему вопрос.

— Бригада, где я служил, сопровождала колонны с грузом по маршруту Кушка—Кандагар. Однажды, возвращаясь на место дислокации после проводки колонны, группа, которую я возглавлял, нарвалась на засаду. «Духи» с 60—70 метров расстреливали нас в упор. Командир роты, вопреки всем наставлениям, вопреки здравому смыслу, приказал личному составу спешиться с боевых машин и повел их в наступление на позиции противника. Как старший группы, я хотел отдать приказ: «Отставить!», но в последний момент понял, что во время боя, во время атакующего порыва моя команда была, как бы помягче сказать, не только ненужной, но и вредной. «Духи» от такой нашей наглости на мгновение опешили, прекратив огонь. И этого мгновения

венья хватило, чтобы без потерь с нашей стороны решить исход боя, полностью разгромив противника.

— Красное Знамя? В Великую Отечественную войну этот орден очень высоко ценился среди красноармейцев — даже выше ордена Ленина.

— Опять группа, которую я возглавлял, возвращалась после проводки колонны. И опять на нас была устроена засада. Но я знал, что в этом районе, в ближайших двух кишлаках не должно быть много душманов. Спешившись с брони, мы — двадцать восемь человек вместе со мной — вступили в бой и стали теснить противника в сторону ближайшего кишлака по зеленке. Противник, отстреливаясь, стал медленно отходить по этой самой зеленке. Мы продолжали преследование. И вдруг меня как током поразило — эти «духи» затягивают нас в мешок. И «духов» не десяток-второй, а более двух сотен. Откуда их столько взялось стало ясно только после боя (отсутствовала информационная поддержка) — у мусульман принято встречать Новый год всей семьей: был конец марта, то ли 21, то ли 22 число и в кишлаки в свои дома к своим семьям собрались все воюющие с нами боевики. Паники не было, хотя как прорываться назад к оставленной броне было совсем-совсем не понятно. Ставлю одному командиру взвода задачу, чтобы он с солдатом попытался найти проход в этом шквале огня. И они нашли: по старому руслу арыка группа стала по-пластунски приближаться к оставленной бронетехнике, заняла круговую оборону. И тут, на наше счастье, показались два вертолета. Не наши вертолеты, то есть наши-то наши, но не нашей бригады. Молодцы летчики — сразу сориентировались в обстановке и за три захода, расстреляв весь боекомплект, намного облегчили наше положение. В этот момент разрывной пулей ранило в ягодицу лейтенанта, нашедшего сухой арык — нашу дорогу жизни. Кровь била фонтаном. Я потом спрашивал докторов — спасти его можно было только на операционном столе. Вечная ему память. Но отвлекся. Посылаю к бронетехнике командира гранатометного взвода, чтобы по радиации запросил командира бригады о помощи, чтобы прислал нам на помощь батальон и вертолеты. Вертолеты прилетели и снайперски — до «духов» от нас было 40—45 метров — ударили по противнику. А батальона обещанного все нет и нет. Надвигаются сумерки. Тогда принимаю решение: двадцатью человеками открыть шквальный огонь, не обязательно — прицельный и прорываться во весь рост к бронетехнике. Шесть человек, также шквальным неприцельным огнем, прикрывают прорыв. Так мы и прорвались. Затем мы прикрывали оставшихся шестерых бойцов. Вынесли тела двух погибших — погиб еще один солдат во время прорыва; но «духов» положили в этом бою больше полусотни. Все валились от усталости, радостно обнимаясь с механиками, оставшимися у машин; воды — ни капли. Тут ко мне подходит один сержант, огромный сибиряк и говорит: «Командир, давай проучим этих «духов» — они сейчас не ждут нашей атаки: давай долбанем по ним штыковой!». Я чуть не проследился, но сил у нас не было для подобной дерзкой наглости.

— А батальон, посланный на помощь, где оказался?

— Банально заблудился. Ты не пиши об этом.— Но как не писать? На войне не все — герои.— Командир батальона был в стельку пьяным — поэтому и заблудился. Наша группа на «подмогу» сама вышла.

— Михалыч, что-то ты говорил о кознях против тебя?

— Попросил меня как-то начальник строевой части принести ему с боевых часы «Сейко». Но я сам никогда не мародерничал, хотя солдатам не запрещал брать трофеи на поле боя и никогда не отбирал у них. Так прямо и заявил этому строевику, на что он ответил мне: «Не видать тебе больше орденов». На очередном совещании офицеров командир бригады спрашивает его, послал ли тот на меня представление на вторую Красную Звезду. Он как-то отвертелся. Через неделю командир бригады повторяет вопрос и, не услышав вразумительного ответа, объявляет начальнику строе-

вой части строгий выговор с занесением и приказывает ему срочно отправить на меня представление на орден Красного Знамени.

— Каковы переputья судьбы.

— Другой раз комбриг приказывает мне вечером (а мы только начали отмечать чей-то день рождения), чтобы я завтра с одной своей ротой и ротой из другого батальона вышел на боевое задание — прочесать «зеленку». Задание пустяковое. Тем более, разведка донесла, что большого скопления противника в данном районе не замечено. Но я заупрямился, сказав, что пойду только со своими двумя ротами. Через полчаса споров, я все же убедил командира в своем решении, сославшись на шестое и седьмое чувство. Придя в свою штабную палатку, приказал своим подчиненным офицерам, под их негодующе-возмущенные стенания, перенести день рождения на завтрашний вечер, ибо с утра предстоит серьезный бой. На завтра подошли к «зеленке»: все тихо, все спокойно, никакого движения, никакого шевеления. А на душе тревожно, что-то сосет под ложечкой, муторно как-то. Отдаю приказ: одной роте развернуться в цепь справа, другой — слева, сам — с резервом в центре и всеми силами ударить по «зеленке». Не успели «духи» полностью оборудовать засаду, не успели: более шестидесяти их трупов потом насчитали, взяли много трофейного оружия, у нас — один легкораненый. Комбриг вечером сказал: «Тебе, Михалыч, пора в экстра-сенсы подаваться».

...В конце восьмидесятых в «верхах» страны обсуждался Проект Постановления «Об амнистии бывших военнослужащих Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане, совершивших преступления и оказавшихся в плену у афганской вооруженной оппозиции». Так вот, будучи командиром полка, Бондарев написал открытое письмо о резком несогласии с основными положениями Проекта Постановления дюжине депутатов Верховного Совета СССР (был, был такой высший законодательный орган когда-то Великой Державы) и в несколько центральных газет.

Под письмом 98 (девяносто восемь!) подписей тех, кто в огонь и в воду пойдет за своим командиром. И первая подпись его — гвардии полковника Геннадия Бондарева.

На это письмо, письмо — крик души офицеров и прапорщиков элиты Вооруженных Сил — не ответил ни один депутат, ни одна газета не напечатала кровью выстраданные строки.

— И сейчас вряд ли напечатают,— с грустью в глазах сомневается Геннадий Михайлович.

— Сколько было разговоров,— продолжает он,— о том, имели мы право воевать в Афганистане, или не имели. Имели! Мы принимали Присягу! Мы выполняли приказ Родины! Беда в том, что наше руководство, руководство страны, позволяет себе сомневаться в правильности принятия решений. И тогда, и сейчас. Дана команда: «Фас!» и будьте уверены мы, солдаты, ее всегда выполним! Не предавайте только нас, не отдавайте на растерзание и поругание Красную (Красную, Красную!!!) Армию, не дуйте в дуду западным приспешникам.

Он имеет право так говорить. И не потому, что на его груди пять орденов: Красного Знамени, Красной Звезды — два, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степени, но и потому, что он — солдат, до мозга костей солдат и патриот своей Родины, гвардии полковник запаса Бондарев Геннадий Михайлович.

Михалыч!

В ТУЛЬСКОМ ЛИЦЕЕ № 2

Мой друг — Учитель ОБЖ (да, да с большой буквы Учитель) Мишка Алехин (хорошо, хорошо — Михаил Алексеевич Алехин) очередной раз пригласил меня выступить перед учениками лицея. На этот раз выступить на мероприятии (фу, как

официозно; лучше — на Дне памяти), посвященного Геннадию Бондареву, афганцу, гвардии полковнику, нашему сослуживцу по 106-й гвардейской воздушно-десантной (в наше время еще — не «Тульской») Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии, нашему другу и товарищу.

О нем — Бондареве — написано много, в том числе и мной: в газете «Побратим» (15.02.2009), в газете «Молодой коммунар» (31.07.2009), в моем первом альбоме «Мои афганцы» (2009). Именно у него первого брал интервью для этого альбома и, именно, это интервью с незначительными дополнениями вошло в книгу «Афганцы Тулы» (2014), и именно это интервью полностью привожу выше.

Что еще о нем рассказать лицеистам?

...Картина Дейнеки «Оборона Севастополя».

Он там, в первых рядах с винтовкой в беспощадной штыковой атаке встает на пути фашистской нечисти...

...Картина Бубнова «Утро на Куликовом поле».

Через мгновение закончится поединок Пересвета с Челубеем. Бондарев тоже там, впереди всех, с православным крестом на груди, с непокрытой головой, в легонькой кольчуге-безрукавке с топором в правой и щитом в левой руке; сейчас он бросится на басурманскую погань, круша все на своем пути...

...Кинофильм «Офицеры».

Комэск Варрава в исполнении Ланового — тоже Бондарев — впереди страшной в своем порыве конной лавы громит басмачей...

И для него слова «Есть такая профессия — Родину защищать!» — не просто слова; это, если хотите, — не только смысл, но стиль всей его жизни.

...С гвардии подполковником Бондаревым я познакомился в конце восьмидесятых годов прошлого века: он — только что назначенный командир 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, я — эпидемиолог дивизии.

Мне часто приходилось бывать с различными проверками во всех частях дивизии, в том числе и в родном 51-м полку, где я начинал службу батальонным врачом. С первых минут нашего знакомства я был поражен тем, что ко всем: офицерам, прапорщикам, солдатам командир полка Бондарев обращался только на «Вы». При нашей второй-третьей встрече я ему говорю:

— Михалыч, ты же знаешь историю своей страны, знаешь, что славяне обращались друг другу только на «Ты». Это Великий Святослав говорил «Иду на вы!», собираясь под корень выжечь ненавистный русскому народу хазарский каганат.

— Доктор, с тобой — на «Ты», — он задумался, подбирая нужные слова. — С другими — на «вы»; военная этика не позволяет иначе.

...Апрель 1994 года. Гвардии полковник Бондарев — военком Советского района. Я — полгода, как в «запасе». Мой сын оканчивает школу, кстати, школу № 73, нынешний лицей № 2.

Захожу к нему в кабинет, естественно, с просьбой о сыне — «откосить», так сказать. Обнялись — радушие, улыбка на лице хозяина кабинета, радость от нашей встречи, я начинаю.

— Михалыч! Сын оканчивает школу...

Он понял сразу. Неуловимо на его лице — явно выраженная брезгливость, отчужденность, чуть ли не враждебность. Стараясь не замечать такой метаморфозы, продолжаю, как ни в чем не бывало.

— В раннем детстве сыну поставили диагноз, исключаящий его службу в Армии. Как бы его, этот чертов, ни к чему не обязывающий диагноз, исправить в нужном ракурсе.

Опять радушие, опять улыбка от плеча до плеча. Вызвав, кого следует, отдает

распоряжение. Я в это время пытаюсь достать из «кошелька» десятилетней выдержки армянский «чай». Видя мои действия, Михалыч чуть не набрасывается на меня.

— Убери сейчас же. Чтобы в последний раз в моем кабинете, понимаешь.

В замешательстве запихиваю емкость в 0,5 литра обратно в «кошелек». А он? Вот, то-то и оно! Он открывает сейф и достает оттуда точно такую же емкость в 0,5 литра десятилетней выдержки армянского «чая». И две ириски достает. Пока мы ждали нужные документы, мы и умяли за обе щеки эти две ириски, запивая их армянским десятилетней выдержки «чаем».

Нет, если бы я попросил в тот раз об обратном, то есть, по настоящему «отко-сись» сына от Армии, он бы мне не отказал. Но... но тогда бы... тогда бы Михалыч был бы со мной только на «Вы».

НАШ ДЕСАНТНЫЙ ИЛЬИЧ

*Иванов Владимир Ильич,
родился 19.04.1949.*

Собеседник моложе меня почти на полтора года. Но и сейчас, и годы, десятилетия назад, проходя службу вместе с ним в 51-м парашютно-десантном полку и в штабе 106-й воздушно-десантной дивизии, не только я, но и большинство сослуживцев обращались и обращаются к нему коротко. По отчеству.

— Ильич!

Такой он солидный и обстоятельный, высокий, стройный, с огромной внутренней силой и невероятным душевным обаянием, настоящий б о м б а р д и р времен Петра Первого, что просто по имени к нему обращаться как-то и не уместно; по имени-отчеству — вроде ровесники, в одном, считай звании. Под стать мужу и его жена, представившаяся мне с манерами аристократки-дворянки не в первом поколении:

— Людмила Ивановна!

Они знакомы с пятнадцати лет. Оба — Питерские. Поженились после пяти лет знакомства, на третьем курсе его обучения, в день рождения, тогда еще не Ильича, а просто — Володьки Иванова. И девятнадцатого апреля девятого года (Светлый христианский праздник! — какое невероятное совпадение) — подумать только! — сорокалетие их свадьбы.

— Ильич,— задаю ему первый вопрос,— почему именно — артиллерийское училище? В Питере много, как сейчас говорят, более крутых военных учебных заведений.

— Первая причина: училище в десяти минутах ходьбы от дома; вторая — друг на год раньше поступил в это училище...

— И пропиарил его Ильичу,— смеется жена.— Третья причина: маршрут его возвращения со свиданий опять же проходил мимо этого училища.

— И скрытая, и прямая реклама — налицо,— заканчивает ответ на мой первый вопрос гвардии подполковник запаса Владимир Ильич Иванов.

Тринадцать лет, после окончания училища, от лейтенанта — командира взвода до майора — начальника штаба гаубичного дивизиона, Иванов прослужил в 1182-м гвардейском артиллерийском полку в Ефремове, районном центре на юге Тульской области.

— Была, конечно, возможность сразу и лейтенантом остаться в Туле. Двое моих однокашников так и поступили — им предложили, как и мне, должность командира взвода СПГ (СПГ — станковый противотанковый гранатомет. *Примеч. автора.*). Но я отказался — несерьезно артиллеристу командовать такой малой «артиллерией».

— В Тулу мы все же попали,— добавляет Людмила Ивановна,— в восемьдесят третьем году, в 51-й полк.

— А через четыре года,— продолжает Ильич,— я улетел в Афганистан, в Баграм, в 345-й полк командиром гаубичного дивизиона.

— И первая твоя награда — орден Красной Звезды?

— Проходила крупная армейская операция. Вертолеты высаживают десант. С трех вершин десант обстреливают «духи». Командир десанта по радио просит поддержки артиллерии и называет координаты. Громов — я тогда с ним первый раз встретился — приказывает нанести артиллерийский удар. А я вижу по карте, что координаты, которые назвал командир десанта, соответствуют координатам самого десанта (летчики-то перед этим доложили о месте высадки десанта) и докладываю об этом командарму. На его вопрос о дальнейших действиях помощи десанту и, главное, чтобы не накрыть своих огнем артиллерии, принимаю простое решение. По координатам, которые дал командир десанта, произвожу один выстрел дымовым снарядом, который разорвался недалеко от командира десанта, а по радио прошу трассерами из ДШК показать направления на господствующие высоты, где засели «духи». Остальное — дело техники.

Как у него все просто получается: «дело техники». Хотя, он же учился всему этому: законам математики, законам физики, законам баллистики, законам чего там еще, что нужно для меткой стрельбы «богам войны»?

— Орден Красного Знамени тоже — за стрельбу? За отличную стрельбу?

— За что еще? И таких орденов у меня — два: один — наш, второй — афганский. Помнишь про девятую роту? Проводилась масштабная операция «Магистраль». В районе Хоста одному батальону ночью срочно надо было спускаться с гор. «Грачи» вешают осветительные люстры — не в том месте. Вешают повторно — опять не в том месте. «Духи» насаждают на наших, а наши не видят, куда надо спускаться. Запрашиваю координаты батальона и делаю выстрел осветительным снарядом, который разорвался точно над целью и осветил местность там, где было нужно. Потом и «Грачи» стали вешать свои люстры там же. И еще случай в окрестностях Хоста. На пути наших войск в одном кишлаке засели басмачи, но авиация никак не могла точно накрыть противника: ориентиров нет — сплошная зеленка. Тогда двумя дымовыми снарядами показываю края кишлака.

— Остальное — дело техники, — мы оба смеемся.

— Из Афганистана мы с командиром полка Героем Советского Союза Востротинным (кстати, на Героя его представляли три раза) выходили последними 11 февраля — наш 345-й полк прикрывал перевал Саланг, обеспечивая выход остальных войск.

— А знаменитые кадры перехода границы по мосту через Речку 15-го февраля?

— Парад, он и есть — парад. — Лаконично комментирует он.

— Ильич, — допекаю его вопросами, — у тебя же и еще есть орден: «За личное мужество»?

— Орден мне вручили, когда я был начальником разведки артиллерии дивизии, — он тяжело вздыхает, — за участие в наведении «конституционного порядка» на Северном Кавказе в девяносто втором — девяносто третьем годах. — Он опять тяжело вздыхает. — Тогда в Южной Осетии погибли два полковника. Ты должен помнить.

— Конечно: твой непосредственный начальник полковник Фролов — начальник артиллерии дивизии и полковник Алексеенко из штаба ВДВ. Поподробнее расскажи об их гибели.

— Не знаю: то ли боевого опыта у них не хватало, то ли не ожидали они столь решительных действий от мятежников. Находясь на своем КП и видя выдвигающиеся «Грады» противника на огневую позицию, они не смогли принять правильного решения, дать команду вертолетчикам, которые только этого и ждали, барражируя над ними. В результате залп «Градов» и... И результат ты сам знаешь какой. Хотя, это сейчас, за рюмкой чая, можно обо всем спокойно рассуждать и анализировать. В боевой обстановке, сам об этом не понаслышке прекрасно знаю, отчет идет на мгновения плюс ответственность за жизнь подчиненных давит неимоверным грузом.

Мы помолчали минуту. Стоя — третий тост. И крайние слова Ильича.

— Что меня больше всего поразило и там, в Афгане, и на Кавказе — восемнадцатилетние пацаны, а как они переживали за страну, за предательство наших, так сказать, «верхов». И нынешнее поколение восемнадцатилетних не все испорчено. Будет, будет и на нашей улице...

— Будет, Ильич, будет, кто бы сомневался.

ТУЛЯК В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

*Скачков Александр Ильич,
родился 23.07.1950 в поселке Птань
Куркинского района Тульской области.*

В 1971 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского Комсомола.

В 1971—1980 годах — командир взвода, командир батареи, командир роты, заместитель командира батальона, командир батальона 234-го гвардейского парашютно-десантного Черноморского ордена Кутузова 3-й степени полка (18.04.1996 года полку присвоено почетное наименование «Святого благоверного Александра Невского») 76-й гвардейской воздушной Черниговской Краснознаменной дивизии (Псков).

В 1980—1983 годах — слушатель Военной академии имени М. В. Фрунзе.

В 1983—1986 годах — заместитель командира 337-го парашютно-десантного ордена Александра Невского полка, начальник оперативного отделения 104-й гвардейской воздушно-десантной ордена Кутузова 2-й степени дивизии; в 1986—1988 годах — командир 328-го гвардейского парашютно-десантного полка (Кировабад).

С 20.04.1988 по 06.02.1989 — командир 317-го гвардейского парашютно-десантного ордена Александра Невского полка 103-й гвардейской воздушно-десантной ордена Ленина Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 60-летия СССР (Кабул, Афганистан).

В 1989—1991 годах — командир 317-го гвардейского парашютно-десантного ордена Александра Невского полка, в 1991—1994 годах — заместитель с 1994 года — командир 103-й гвардейской воздушно-десантной ордена Ленина Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 60-летия СССР (Витебск).

В 1995—1997 годах — начальник штаба Мобильных Сил Республики Беларусь. В 1997 году назначен командиром Мобильных Сил Республики Беларусь.

Генерал-майор. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 мая 2000 г. № 265

О ПРИСВОЕНИИ А. И. СКАЧКОВУ ВОИНСКОГО ЗВАНИЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

Присвоить полковнику Скачкову Александру Ильичу очередное воинское звание генерал-майора.

Президент Республики Беларусь

А. ЛУКАШЕНКО



Федор Ошевнев
(г. Ростов-на-Дону)

«ШТОПОР»



Наш постоянный автор. Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

Подходит к концу срок моей действительной армейской службы. И все острее и чаще внутреннее «я» ставит вопрос: как же жить потом, дальше?..

События, круто изменившие мою судьбу, произошли около года назад; тогда я заканчивал первый курс высшего военного авиационного училища летчиков. То памятное лето выдалось на редкость жарким, и — как специально для полетов — постоянно безоблачное небо. В один из таких непривычно для августа знойных дней я в компании еще нескольких курсантов нашей летной группы празднично сидел в курилке — после предварительной подготовки к полетам второй смены. В казарму, на обязательный предполетный отдых в койках, мы не торопились: в духоте засыпаешь трудно, а то еще и всякая чушь в сновидения лезет. Вообще-то по времени дежурный врач — обладатель несерийного маслобака-живота — уже должен был нас разогнать по матрасам, но эскулап непонятно почему запаздывал.

Разговор в курилке, как зачастую у нас и бывало, в основном велся на авиационно-матерном сленге, который, чтобы нелетунам было понятно, по большей части опускаю, и все вертелся вокруг полетов. Вспоминали, как кто-то вчера закозлил: сбавляя скорость при посадке, перемещался по взлетке с отскоками, у кого-то лампочка в блоке индикаторов в воздухе беспричинно моргала, а кому-то осерчалый инструктор в причинное место авторучкой ткнул: не зевай, мол, курсуль! И вдруг даже не помню точно, кто именно, высказался про мусульманское поверье, будто судьба каждого из летчиков «записана на небесах пером Провидения» и коль уж тебе по этой записи определено гробануться — да хотя бы сегодня,— то никакое умение пилотирования не поможет.

Тут беседа неожиданно оживилась: каждый из нас принялся высказываться по этому поводу pro и contra. А один вообще заявил, что раз поверье это мусульманское, то на нас, христиан, не распространяется.

— Все это, господа будущие офицеры,— заявил, подводя итог, Валерка Градов, один из лидеров летной группы,— есть чепуха и даже без постного масла. Никто из вас лично не был свидетелем сверхъестественных случаев, о которых все так живо разглагольствуют, только ж это исключительно понаслышке...

— Да нет, конечно,— загалдели мы.— Но ведь столько говорят...

— Вздор! — оборвал галдеж Валерка.— Покажите не пересказчиков, а настоящих, реальных очевидцев подобных чудес. И если уж на то пошло, что кто-то всерьез допускает существование фатальной предопределенности, дамочным мечом вся-

щее над всяким, зачем же тогда зубрить действия при особых случаях в полете? Зачем, спрашивается, катапульта и голова на плечах? Зачем вообще было выбирать рисковую профессию летчика-истребителя? С такими взглядами в кабине самолета просто делать нечего...

В это время, явно чтобы привлечь общее внимание, с лавочки поднялся до того не принимавший участия в разговоре Андрюха Сказкин. Картинно затянулся остатком импортной сигареты, щелчком артистично отправил бычок в урну — диск от автомобильного колеса, врытый посреди курилки, торжественно-спокойно оглядел присутствующих и снова сел.

Андрюха был рожден от смешанного брака. Мать-гречанка одарила его смуглой кожей, большими агатовыми глазами под крутыми ресницами, правильным античным профилем и черными, слегка вьющимися волосами. От отца же — потомственного москвича — сокурсник унаследовал высокий рост, худощавое телосложение и приятный бархатный голос.

Чуть ли не министром был отец у Андрюхи. И потому, когда его родители приезжали на церемонию принятия сыном военной присяги, комбат сам водил их по всей казарме, соловьем заливаясь об «идеальных условиях жизни курсантов». Именно тогда-то я и рассмотрел элитарных предков-«небожителей».

Характер Сказкина вполне соответствовал его неординарной наружности. Он первым лез через училищный забор в самоход, первым пил горячее — водку — за шторой окна в Доме офицеров в перерыве какого-нибудь культмероприятия, первым вводил понравившуюся девушку с танцев и в учебе тоже был первым.

От остальных курсантов Андрюха держался достаточно обособленно, не откровенничал и был сух с официантками летной столовой, хотя одна из них, симпатичная разведенка, прямо-таки таяла под взглядом агатовых глаз. Однако, услышав раз недвусмысленный намек на эту тему, Сказкин кисло поморщился, грубовато заявив, что хороший вор в своем квартале не ворует.

Была, впрочем, и у него своя слабинка, которой он не таил: страсть к игре на бильярде. Над зеленым сукном забывал обо всем, а шары катать предпочитал только на интерес; в крайнем случае, на щелчки.

Однажды вечером, когда Андрюха и Валерка Градов заканчивали в курсантском клубе очередную партию «американки», завыл сигнал «Сбор». Так в тот раз Сказкин чуть не силой удержал Валерку у стола, пока они не «добили» партию, и Андрюха — редкий случай — победу уступил. Тем временем эскадрилья построилась, экипированная для выхода в район рассредоточения, комэск в горячке костерил запаздывающего (Градов уже успел с тыла просочиться в строй), а Сказкин, наконец появившись после получения оружия, первым делом подбежал к Валерке и всунул ему в руки свой проигрыш — банку ЦИАТИМа, вареной сгущенки. И лишь расплатившись за игру и демонстративно игнорируя угрожающие крики комэска, занял законное место в строю.

Что ж, самоуверенности Андрюхе было не занимать. Тем более он точно знал, что под покровительством родственников, которые с верхних слоев тихо и ненавязчиво наводили погоду у сына над головой, ему сойдет с рук еще и не такое...

Со Сказкиным я попал в одну летную группу, и в нее же — Валерка Градов, курсант-холерик, а по-училищному — сперматозоид, у которого родитель тоже большой шишкой был. И началось у нас, троих, стремящихся быть лидерами хотя бы в нашем малом коллективе, тайное соперничество. В негласном противостоянии том уступал я обоим сокурсникам разве лишь в наглости...

Итак, Сказкин оглядел собравшихся в курилке — человек восемь, вновь уселся на лавочку и холодно улыбнулся кончиками губ, как бы подчеркивая, что он — су-

щество особенное и лишь по неведомой причине на минуту решил снизойти к «случайным жизненным попутчикам», дабы высказать кое-какие нам неведомые мысли, до которых успел дорасти лишь он сам.

Точно выдержав паузу, Андрюха заговорил в своей привычной манере, кратко и резко:

— Звездобратия! — И в интонации, с какой он произнес это в общем-то обычное меж курсантами слово-обращение, сразу почувствовалась нотка пренебрежения. — К чему заниматься болтологией? Предлагаю эксперимент: на деле выяснить, существует ли в этом мире фатальное предопределение. То есть расписан ли всякому в полете смертный час. Угодно будет рискнуть?

— Вот дурак,— хмыкнул курсант по прозвищу Витамин; «погоняло» прилепилось к нему из-за детского пристрастия к сладкому, он и сейчас яростно чмокал ириской. — И придумает же...

— Дурак в штанах, и тот полковник,— отрезал Андрюха. — Ну так как? Смелых нет?

— А чего ж ты другим неизвестно что предлагаешь? Для начала на себе свой эксперимент и попробуй,— резонно заметил тяжеловес по прозвищу Гирия, курсант-флегматик — таких в военном вузе называют тормозами. — А мы оценим...

— Я-то всегда готов... — гордо заявил Андрюха, саркастически смотря как бы сквозь тяжеловеса. — С кем спорим, что предопределение есть?

— Спорю, что нет,— дернул черт меня за язык. — На весь летный шоколад, что у меня есть... двенадцать плиток.

— Так... Ладно,— согласился Андрюха и пригладил кончиками длинных пальцев маленький косой бакенбард — привилегию «позвоночного» сынка. — Градов, а ну, разбей... Если проиграю, десять плиток у меня в наличии, да ты, Витамин, две должен, прибавишь...

— Ну хорошо,— сказал я, когда мы торжественно ударили по рукам. — А теперь объясни: каким макаром ты собираешься меня заставить поверить в предопределение?

— Я сделаю «штопор». На «элке». Без инструктора. Прямо сегодня,— раздельно-лаконично ответил Андрюха. Чуть тише добавил: — Любой из вас разбился бы, рискни на это. А я — нет. Я в свою счастливую звезду твердо верю.

Все замолчали, лишь Витамин продолжал чуть слышно чмокать ириской — по инерции.

— Во дает форсаж! — наконец уважительно пробасил Гирия.

— Тебя ж после этого из училища точно выпрут,— тихо сказал мой сосед справа.

— Кого? Меня-а? — растянув последнее слово, переспросил Андрюха, и всем сразу стало ясно: нет, Сказкин, в отличие от любого из нас, даже при самом худшем раскладе выскочит — то есть благополучно выпутается из ситуации, чреватой летным происшествием.

Градов не произнес ни единого слова. А Витамин, судорожно сглотив конфетку, вытянулся вперед, почти привстав с лавочки, и открыто высказал мысль, которая в тот миг явно вертелась на языке не только у меня:

— Но... Если все-таки того... гробанешься? Ты ж его никогда...

Поверх наших голов Андрюха презрительно смотрел в голубое небо.

— Тебе угодно выложить за меня двенадцать плиток? — наконец снизошел он до ответа, который процедил, даже не удостоив Витамина взглядом. И курсант-сладкоежка, который шоколад сжирал, чуть ли не едва успев его получить, и каждому из нас был должен по одной-две плитки, осел, как лопнувшая автомобильная шина.

Тут заговорили все разом, поднялся гвалт, а я подумал, что после своего заявления Сказкин как бы получил над нами некую необъяснимую власть, от которой если и освободимся, то только лишь подытожив пари.

Почти против воли я молча взглянул на Андриюху, он жестко встретил мой взор, и — клянусь! — мне показалось, что печать смерти уже коснулась смуглого лица.

«Ведь и в самом деле гробанешься!» — безмолвно прокричали-предупредили мои глаза.

«Скорее — точно нет», — прочел я ответ по глазам зачинщика спора, вслух же спросил:

— И как мы узнаем, делал ты в натуре «штопор» или нет?

— САРПП*, — пояснил Сказкин. — Как расшифруют — сразу шум подымется.

Я мысленно обозвал себя идиотом: тоже, не мог сразу догадаться.

И тут возле курилки появился припозднившийся телесистый военврач. После краткого, но выразительного менторского монолога на тему внутренней дисциплинированности будущего летчика нас разогнали по койкам...

Наверное, мало кто из свидетелей спора спал перед теми полетами. Сам я лежал на койке второго яруса, смотрел на выбеленный потолок казармы, по которому, прямо надо мной, змеилась еле заметная трещина, и думал, что скандал после расшифровки пленки САРППа и точно должен подняться немалый. Ведь «штопор» — неуправляемую фигуру высшего пилотажа, во время исполнения которой самолет одновременно вращается в трех плоскостях да при этом еще весь трясется, как отбойный молоток, на «элке» — учебном чехословацком самолете «Л-39», на котором мы летали в конце первого курса, — нам самостоятельно делать пока было запрещено — категорически. Хотя для опытного инструктора исполнить эту фигуру не составило бы особого труда. Но мы-то «штопор» лишь в теории изучали — при действиях в особых случаях.

Я перегнулся через край койки и посмотрел на нижнюю, по диагонали от меня, кровать. Андриюха ровно дышал, глаза его были закрыты, и я поразился непритворному спокойствию парня и его уверенности в собственных силах-возможностях...

* * *

Андриюхина «элка» в глубоком «штопоре» прожгла землю под зоной полетов на глубину четырех метров. Очевидцы взрыва — рабочие совхоза — уверяли потом, что впечатление было, будто взорвался огромный резервуар с бензином. Люди гражданские: откуда им знать, что топливо в баках самолета есть авиационный высокоочищенный керосин, или, на авиасленге, горилка.

В момент воздушной катастрофы я, как и другие курсанты нашей летной группы, находился в воздухе. Всем нам по радиосвязи приказали немедленно прекратить выполнение задания и произвести посадку с ходу. После приземления группу быстро собрали в классе предполетных указаний и объявили о первой смерти на нашем курсе (как тогда все свидетели спора в курилке старались спрятать друг от друга глаза!) и о том, что мы вместе со всеми сейчас поедем на поиски САРППа.

Мой инструктор — всю жизнь буду помнить человека, дарившего крылья, — однажды в разговоре предупредил-посоветовал: «Никогда не соглашайся искать САРПП, старайся уклониться под любыми предложениями». По его словам, иной курсант, увидев своими глазами последствия авиакатастрофы — на сленге: полного рта

* САРПП — система автоматической регистрации параметров полета. Даже в случае авиакатастрофы, как правило, сохраняется пригодной для расшифровки, размещаясь в специальном защитном футляре, в хвосте самолета. В просторечии САРПП часто называют «черным ящиком», хотя на военных самолетах его футляр ярко-оранжевого цвета: для лучшей видимости при поисках после авиакатастрофы.

земли — и реально утраившись возможности собственной гибели (хотя и раньше прекрасно сознавал это теоретически, однако ум — не сердце), потом длительное время боится летать. А кто и вовсе списывается с летного факультета...

Но мне надо — н а д о было все увидеть, чтобы потом не пытаться себя неизвестностью. Потому я не стал отказываться от участия в поисках (Градов и еще несколько курсантов успешно отвернулись от этой миссии), а сел в кузов машины, и нас, вместе с солдатами из батальона авиатехнического обеспечения, повезли за сорок километров к месту катастрофы, на совхозное поле под зоной полетов.

Увиденное меня и потрясло, и, как ни странно, успокоило: наверное, потому, что теперь я как бы зрительно подвел итог спора сам. Куски разбившегося самолета — дрова — разлетелись от черной воронки с обугленными краями по пшеничному полю. Дальше всех, отброшенная страшной силой взрыва, валялась исковерканная, едва угадываемая по форме лавка — пилотное кресло.

Кресло, в котором совсем недавно сидел Андрюха, размазанный по щитку приборов при ударе крылатой машины о землю. И рядом с этим креслом нашли кусочек человеческого лица: лоскут кожи в форме почти правильного треугольника — часть щеки, ото рта до глаза и уха, с чудом сохранившимся на коже опаленным клочком косого бакенбарда.

Плюс — собрали еще несколько обугленных кусков человеческого мяса и обломков костей.

Вот так я воочию увидел то, что в нашей летной среде давно и цинично окрестили жареным железом. Витамина и еще одного из свидетелей спора в курилке жутко рвало: а не смогли бесстрастно взирать на так называемые «мелкие поломки» — фрагменты летательного аппарата, собираемые с места катастрофы граблями. Увы, после взрыва военного самолета от его пилота обычно остается немногим больше, нежели после кремации...

Позднее, когда мы уже возвращались в училище, глядя из кузова крытого тентом «КАМАЗа» на шафранное море спелых колосьев, я впервые в жизни — видимо, довольно поздно по возрасту — неожиданно испытал ужас понимания: смерть неминуема! В тот миг мне неистово захотелось выскочить из грузовика и с криком бежать, бежать... Куда? Зачем? От кого? От неизбежности будущего? Я еле сдержал рвущееся изнутри паническое чувство... Показалось, что через Андрюхину кончину моя собственная, как бы превентивно, погрозила пальцем-косточкой. И только тогда я вдруг с особенной четкостью осознал, что самолет — это отнюдь не большая супердорогая игрушка, а профессия военного летчика не на словах — на деле несет в себе постоянный процент смертельного риска.

А кассету САРППа нашел солдат из хозяйственного взвода...

* * *

В ночь после авиакатастрофы меня разбудил Витамин. Он шепотом сказал, что надо выйти и посоветоваться, как будем завтра отвечать на опросах. Я догадывался, что зовут вовсе не за тем, однако пошел.

В курилке уже топтались Валерка Градов и Гирия. Я усмехнулся, спросив:

— А где же остальные?

— Не твое собачье дело, — тяжело буркнул Гирия и громко засопел.

Мне стало противно: я догадался, что именно курсанты собираются сделать, но вот к а к это будет происходить?

Тут Градов протянул мне толстую стопку шоколадных плиток.

— Твой выигрыш. Бери, скотина! Жри и радуйся, что из-за тебя человек разбился.

Видя, что я отнюдь не тороплюсь получить причитающееся, Валерка швырнул

шоколад, метя мне в лицо. Но сей «благородно-возмущенный» жест я угадал и успел резко отпрыгнуть в сторону, а затем, подскочив к сокурснику, саданул его кулаком по скуле. «Обличитель» перелетел через стоящую позади него скамейку и растянулся на земле.

Вряд ли кто из моих сослуживцев предполагал, что я первым нарушу правило «вето». Драка в нашем летном училище обычно заканчивалась однозначно: всех ее участников безжалостно вышвыривали за борт военного вуза. И потому меж нами, курсантами, существовал негласный уговор: любую конфликтную ситуацию стараться разрешить без помощи кулаков. Теперь же получалось, что на подлость сослуживцев я тоже ответил подлостью, да еще такой, которая ставила под угрозу дальнейшее пребывание в училище сразу четырех человек.

На секунду мои вероятные противники опешили, застыли окаменевшей скульптурной группой — кто стоя, кто лежа возле скамейки. Я перепрыгнул ее и, развернувшись, крикнул двоим ринувшимся за мной курсантам — ах, как велика смелость, когда видишь спину убегающего врага, а я им стал уже для сокурсников:

— Стойте, сейчас такое скажу!..

Парни резко остановились: слишком многообещающе были мои слова. Кряхтя и матерясь, поднялся Градов и тоже присоединился к сотоварищам.

— Если в натуре считаете, что в случившемся виноват я один, — отцедил я, презрительно взирая на сгрудившихся передо мною курсантов, — давайте, мочите... Только до смерти все одно не забудьте. А я потом пусть ползком, но доберусь до дежурного по училищу, потребую, чтобы он вызвал генерала, и просвещу его о споре и прочем. А и дешевка же ты, Градов! Авторитета вонючим путем добиться захотел, одним махом двух побиваю! Забыл, как сам нам руки разбивал? И остальные... Эхма! Повыгоняют — так пусть уж всех разом!

Витамин тут же отшагнул от Градова и Гири и испуганно зачастил:

— Они меня заставили! А Андрюху я честно предупреждал — помнишь?

— Заткнись, авитаминоз! — скривившись, оборвал его Валерка. «Прокачал» мысленно ситуацию и наконец прошипел: — Ну, смотри... Повезло тебе, гад... А вякнешь если кому слово... Не было никакого спора, понял? Не было! Вообще ничего не было! Молча в курилке кантовались!

— Молча так молча, — с видимой покорностью согласился я, понимая, что на сей момент Градов смирился с поражением, но при случае не преминет сотворить какую-нибудь подлянку. — Только доктору ты вряд ли глиссаду на винт наматываешь (навешиваешь лапшу на уши): вон как разорялись, когда он в курилку зарулил. И насчет гада — один из нас, согласен, он и есть. Только уверен, что «он» — точно не я...

— Ах ты... — задохнувшись в гримасе злобы, выпалил Градов. — Тебя... Тебя вообще... судить надо!

На что я, словами классика, с издевкой ответил-поинтересовался:

— А судьи кто?

Трое «самосудей» отмолчались и, потусовавшись еще несколько секунд, нестройно затопали из курилки, причем Витамин на ходу слабо заканючил:

— Валер, а Валер... Надо ж придумать, что завтра говорить...

На что Градов недовольно отрубил:

— Не вой! Время пока терпит.

А Гирия уже еле слышно резюмировал:

— Я же толковал: зря ты все это...

Проводив взглядом трех несостоявшихся мстителей, я собрал разлетевшиеся и частично раздавленные яловыми сапогами плитки летного шоколада, отнес их на мусорку и присыпал сверху отбросами. Это был мой честный выигрыш, доставшийся

чрезвычайно дорогой ценой, которую, впрочем, заплатить довелось другому смертному. Тем не менее шоколадом я вправе был распорядиться по усмотрению.

И еще: меня прямо-таки терзало желание надкусить хотя бы одну плитку, чтобы прочувствовать вкус сласти, замешанной на человеческой гибели. Однако я четко осознавал, что, сделав это, перешагну некую запретную границу, откуда назад возврата нет. Так что с трудом, а перемог, удержался от искушения...

Медленно, беспокойно шел я к казарме по стиснутой свежeweбеленными бордюрами асфальтовой дорожке, окаймленной тщательно подстриженными кустами самшита. Кровавый ущербный месяц высунул свой рог из-за стоянки самолетов; так же отрешенно, как и, надо полагать, много тысячелетий назад, сияли в не постижимой высоте соцветья созвездий. А меня неотступно преследовал в мыслях лоскут-треугольник человеческой кожи с остатком косога бакенбарда на нем.

У кого-то из классиков однажды я читал: предкам нашим, с их слепой верой, что небесные светила активно участвуют в их жестоких и зачастую вовсе мелких спорах — за какие-нибудь гроши или в угоду ущемленному самолюбию,— жить было проще. Верил ли во что-то в этом роде Андрияха? Да, сам же говорил про свою счастливую звезду... И наверняка мысленно не допускал возможности, сваливая самолет в «штопор», что звезда-то эта сегодня ночью так и будет продолжать холодно-ярко светиться, а сам Сказкин на мгновение вспыхнет в факеле взрыва и разом исчезнет для всех землян — вместе со своим внутренним миром, страстями и надеждами.

Но какая смелость была у парня! А может, всего лишь глупое безрассудство? Или это я в кошки-мышки со своей совестью играю, норовя замаскировать гнездящуюся в глубинах души трусость? Смог бы — пусть за неизмеримо большую ставку — рискнуть на «штопор» сам, даже сбрось со счетов последующий разбор полетов с вероятным исключением из училища?

Пойти на столь неоправданный риск... Нет, далеко не всегда цель оправдывает средства... Дурной иезуитский лозунг... Ведь одна только стискивающая сердце мысль о неизбежном телесном конце тошнотворным страхом обволакивает разум и уже при жизни многое прекрасное убивает в нас.

Потому, однажды осознав личную обреченность, нахождение внутри сужающегося и неразмыкаемого круга, мы потом до последнего вздоха не в силах забыть это... Все там будем... Memento mori... С латинского — «помни о смерти»... А помня о ней, невольно избегаем настоящего, истинного, чрезвычайного риска — даже во имя исполнения великих целей будущего, даже во имя личного счастья, не веруя в их осуществление, возможность. И слепо-бесполезно бродим в настоящем меж тремя глаголами: есть — пить — спать, добавляя к ним время от времени четвертый: совокупляться, плодя себе подобных обреченных.

...Тогда я почти поверил в фатальное предопределение, хотя по итогам спора, в сути, выходило обратное. Поверил, поскольку во время шмона вещей, принадлежавших ушедшему от нас в бессрочный отпуск, нашли толстую записную книжцу в бордовом переплете, а в ней — кто бы мог подумать? — были Андрияхины стихи. И на последней страничке книжцы, как бы венчая безвременную кончину человека, косые, торопливые, бежали строки:

*Мой след на миг прочерчен в небе.
Как чуткий сон, истаял он.
След оборвался в спелом хлебе,
Что самолетом был сожжен.*

Ниже стояла дата: день катастрофы. Разительное доказательство, не правда ли? Но вот до или после спора перед роковым вылетом были написаны эти кричащие строки?

Казалось бы, события последних дней должны были твердо убедить меня поверить в судьбу — счастливую или наоборот, не столь важно, — но я еще сомневался. Опять-таки где-то было читано, что мы часто промахиваемся в своих убеждениях, ибо не знаем точных границ и критериев чувств и рассудка. Впрочем, абсолютно точно это ведает один лишь Бог, имя которому — космические законы, что довлеют над человечеством. И ни познать их, ни тем паче изменить оно не в силах, а накапливаемые в течение жизни каждым из индивидуумов какие-то крохи информации, знаний неизменно уносятся вместе с ним в небытие.

Остаются, правда, слова в книгах и голоса на кассетах, изображения в кинолентах и ущербная, быстро стирающаяся временем память о тебе твоих близких. Ну долго ли мы, сокурсники, будем помнить Андрюху, рискнувшего на эксперимент в условиях пограничной ситуации и проигравшего? Размазанный по щитку приборов, он уже пересек границу неразмыкаемого круга...

* * *

Из-за авиакатастрофы все полеты в училище временно отменили: разбирались в ее последствиях.

Спустя неделю нашу летную группу, издерганную постоянными расспросами-допросами, как и остальных курсантов-первогодков, собрали в зимнем клубе. На разбор причин случившегося прилетел даже командующий авиацией округа.

Мы сидели в задних рядах клубных кресел, а впереди — офицеры и прапорщики. На сцене стояли три накрытых кумачом стола и полированная трибуна с золоченым Государственным гербом на фасаде. Сзади, за столами, густо навешали плакатов по летной подготовке и укрепили склейку, по которой детально отслеживался ход рокового полета.

Командующий объемно растекся мыслями о грандиозных задачах, поставленных перед нами, будущими летчиками, и о том, что мы их из рук вон плохо выполняем. Потом на трибуну поднялся полковник, прилетевший из Москвы во главе комиссии, назначенной для расследования причин авиакатастрофы. Сверяясь со склейкой, старший офицер разложил полет Андрюхи чуть ли не по секундам: как он на вираже, на скорости 250, перетянул ручку управления и сорвался в устойчивый «штопор» (ушел в запой), быстро попытался вывести самолет из него, но неграмотно действовал рулями и, по всей видимости, растерялся. Однако, надеясь на способность самолета самостоятельно выходить из «штопора», если поставить бетономешалку — ручку управления — на нейтраль, управление бросил. К сожалению, то ли изменение полетных характеристик крыла после грубых курсантских посадок «элки» с сильными ударами шасси о бетон взлетки свело на нет свойство крылатой машины самопроизвольно переходить из «штопора» в пике, то ли попросту испугался Андрюха, не успев дожидаться этого, но так или иначе, а снова взялся хаотично действовать рулями и, борясь с самолетом, врезался в землю.

Была ли у курсанта возможность катапультироваться? Несомненно. Почему не использовалась? Скорее всего, Сказкин надеялся спасти самолет...

В заключение доклада-разбора председатель комиссии подвел черту под авиакатастрофой: причинами ее посчитали летную недисциплинированность и личную недоученность Андрюхи, а отсюда — его неграмотность в действиях при попытке вывода летательного аппарата из «штопора» и в итоге — паника.

Вот что стало известно после тщательного изучения расшифрованной кассеты САРППа.

На мой взгляд, полковник в основном все проанализировал верно, только до истинной причины, п о ч е м у курсант самовольно свалил «элку» в «штопор», комиссия

так и не докопалась. И частично именно потому, что на следующее утро после попытки ночного обвинения меня в смерти сослуживца ко мне подошел один из свидетелей идиотского пари и вручил шпаргалку с примерным текстом общей беседы в курилке. По листочку выходило, что трепались обо всем и ни о чем, Андрюха же, значит, тогда больше молчал — что, впрочем, на Сказкина было весьма похоже.

У остальных присутствовавших при споре тоже имелись подобные «инструкции» авторства Валерки Градова. Посему, хотя наш врач и поведал следователю военной прокуратуры о каком-то неясном разговоре нескольких первокурсников перед тем злополучным полетом, правды при опросах не выявили.

Я, конечно, чувствовал себя косвенно виновным в смерти Андрюхи. Но держал язык на привязи — в первую очередь, спасая собственную шкуру. Кому же охота, чтобы его вытурили из училища? Скорее всего, по той же причине молчали и остальные курсанты. А может, рот на замке они держали еще и потому, что Сказкина в летной группе сильно не жаловали — за «позвоночность», исключительность и заносчивость. Особенно Валерка Градов, тот его почти ненавидел. Стеной, которую ни обойти, ни перепрыгнуть, и мертвым стоял перед ним Андрюха, мешая вскарабкаться на пьедестал неформального лидера...

В конце разбора авиакатастрофы командующий поднял несколько курсантов, зачитав их фамилии по листку, разнес в пух и прах за халатную летную подготовку и приказал начальнику училища «наложить на бездельников дисциплинарное взыскание своей властью». В список штрафников угодил и Витамин, незадолго до того разложившийся — поломавший — «элку» при посадке: не вовремя включил реверс, начиная торможение — уперся.

После этого нас, курсантов, выпроводили из клуба, а командующий и члены комиссии еще с полчаса оставались там с офицерами. О чем был продолжившийся разговор, мы догадывались: все на ту же тему.

Полетов не проводили еще неделю. Наконец на утреннем разводе в понедельник выстроили весь учебный полк. Начальник штаба училища зачитал приказ о наказании тех курсантов, которых в клубе поднимал командующий. Всем им вкатили по строгому выговору. По слухам, сморщились, то есть получили суровое взыскание, и все офицеры, имевшие непосредственное отношение к летному обучению Андрюхи.

Вот и оправдалась издевательско-глумливая поговорка, ходившая в кулуарах меж шкрабами — летчиками-инструкторами: «Разобьется курсант — мне выговор, ему — цветы» (на могилу)...

После авиакатастрофы курсантский состав по приказу начальника училища сдавал многочисленные дополнительные зачеты и проверялся, что называется, по всем показателям. Мы повторно изучили всю летную документацию, усиленно занимались на авиатренажерах, и наконец нас осторожно, от простого к сложному, страхуясь и перестраховываясь, начали допускать к полетам.

Сначала отрабатывалась дополнительная вывозная программа (полеты вместе с инструктором), и только после нее уже приступили к одиночным полетам в зоне — на простой и сложный пилотаж, по маршруту и в составе пары. А все эти дни, как и раньше, во время зубрежки летной теории, меня не покидала неотвязная мысль: точно ли пошел на свой опрометчивый «штопор» Андрюха, желая эдаким макаром в очередной раз доказать свое превосходство и самоуверенно полагаясь в большей мере не на знания и опыт, но на фортуна, которая оказалась как бы действительно «написанной на небесах и чужой рукой»?

«Неужели на этом свете так оно и есть: каждому — свое?» — думал и раздумывал я.

И крепла, крепла во мне мысль: к самостоятельному исполнению одной из самых

сложных фигур высшего пилотажа Сказкин ни теоретически, ни практически не был готов. Небо же — прописная истина — ошибок не прощает!

А жизнь в военном училище постепенно налаживала обычный ритм. Только курсанты нашей летной группы — свидетели памятного спора — продолжали коситься на меня, и в том, я уверен, не последнюю роль играл Валерка Градов.

Правда, один из них — но не тот, что передавал мне листочек-шпаргалку, а который после обещания Сказкина сделать «штопор» предупреждал Андриюху, что его могут выгнать из военного вуза, подошел ко мне вечером и сказал:

— Слушай, не казись чересчур. Все мы, кто тогда там был, одинаково виноваты.

На что я довольно грубо ответил:

— Ну вот иди и скажи об этом Градову. А еще лучше — начальнику училища.

Сокурсник непонимающе посмотрел на меня и предостерег:

— Не буди лиха, пока тихо...

А я, признаться, со дня на день ожидал, что кто-то да и не выдержит распирающей его тайны, где-то обмолвится словом о роковом споре, слово пойдет гулять по летной группе, потом по соседним и в конечном итоге неминуемо доберется до офицерских ушей. И тогда...

Пока же, из страха быть отчисленными из училища, молчали все свидетели пари. И я сам...

* * *

Первым в эскадрилье пройдя вывозную дополнительную программу, я приступил к одиночным самостоятельным полетам в зоне. Через несколько дней меня уже допустили к сложному пилотажу, в то время как другие курсанты (и в их числе Витамин и Валерка Градов — да-да, который после Андриюхиной смерти однозначно стал бояться полетов) еще носились по маршруту и бесконечным кругам.

И вот, незадолго до каникулярного отпуска, второго октября, утром, порадовавшим нас четырьмя девятками — хорошей погодой, — когда солнце еще только высветило на горизонте синюющие горы, подернутые белесой дымкой, мне на полетах первой смены досталась та самая проклятая четвертая зона, где разбился Андрияха. Впрочем, на деле эта зона больше ничем и не отличалась от всех других.

Под ней проходил один из маршрутов, и, бывало, когда курсант выполнял задание в зоне, а второй приближался к ней заданным курсом на более низкой высоте, в эфир летела команда руководителя полетов: «Такому-то ниже 2500 не снижаться, под вами такой-то...»

Левым разворотом я занял зону и доложил в микрофон:

— 7-51-й четвертую занял, 5000, задание.

— 7-51-й, выполняйте, — раздался в наушниках голос руководителя полетов.

Далеко внизу, под крылом «элки», были разбросаны неправильные многоугольники свежевспаханных черноземных полей. Медно-золотистые кроны защитной лесополосы длинной прямой линией разрезали поля. Кирпично-красные, а больше серые шиферные крыши казавшихся сверху игрушечными домов виднелись в стороне, за пашнями. А на сходящемся горизонте, аквамариновые, просвечивающиеся сквозь дымку, важно высились горы. И меня больно кольнула мысль: всего этого больше никогда не увидит Андрияха, и даже его могилу — настоящую, а не ту, на родине, куда опустили цинковый гроб с лоскутом кожи и толикой спекшейся почвы, — теперь уж и не найти в этом черном вспаханном поле: «Его зарыли в шар земной».

И это — наш всеобщий и неизбежный жизненный итог...

Я бросил взгляд на бычий глаз — магнитный компас, расположенный в кабине пилота (у нас ее окрестили кабинетом) по центру ее, и тут в наушниках раздался голос руководителя полетов, предупреждающий:

— 7-51-й, ниже 2500 не снижаться. Под вами 7-38-й.

Оказывается, внизу, по маршруту, вместе с летчиком-инструктором, сейчас должен был пролететь Валерка Градов. Этот скот в смерти Сказкина винил меня и только меня и наверняка с удовольствием заложил бы про спор в курилке, не будь у самого рыльце в пуху.

«Вот на-ка, выкуси,— злорадно подумал я, вглядываясь вниз, хотя и понимал, что камуфлированный самолетик в воздушном океане найти, даже при видимости миллион на миллион — то есть свыше десяти километров,— задача не из легких.— А не хочешь мышшь белую съест?»

И как бы разом отключился у меня контролирующий поступки центр. Я резко дал своему «альбатросу» крен восемьдесят градусов вправо, поставив «элку» крылом под углом к земле, и с силой потянул ручку управления на себя. Самолет затрясло, умная машина как бы предупреждала меня о возможных последствиях. Но граница благоразумия осталась позади, и я решительно убрал обороты двигателя до пятидесяти пяти процентов. Стрелка указателя скорости теперь замерла чуть ниже отметки «250».

Словно бы нехотя перевалившись через правое крыло, самолет встал почти перпендикулярно земле и на мгновение замер, подобно ныряльщику, взлетевшему вверх с трамплина, с раскинутыми руками, уже перевернувшись в воздухе головой вниз и начинающему свободное падение. Медленно пройдя точку неустойчивого равновесия, «элка» начала второй виток «штопора» и, постепенно набирая скорость его оборотов, забила, словно в предсмертной агонии. Педали колотили меня по ногам, самолет вибрировал и крутился так, что я, трясясь в кресле и мертво вцепившись в ручку управления, какие-то мгновения летел с потерянной ориентировкой — блудил. Аспидные поля, медные кроны лесополосы, аквамариновые горы и светлое небо с неярким диском утреннего солнца на нем вертелись вокруг меня, как на плохой дискотеке...

Жестко ткнувшись затылком в заголовник кресла, я несколько протрезвел от болтанки, поняв, что меня крутит вправо и что я уже в устойчивом «штопере».

«Найти ориентир для вывода... Прочно «взять» глазом... РУД (рычаг управления двигателем) на малый газ... — вместе с самолетом вертелись и мысли в голове.— Так, есть... Левую педаль дать по вращению... Ручку управления самолетом на себя... Теперь педаль отжать до упора... Ручку управления в нейтраль... Готово... Ну же, давай... Сейчас, сейчас... Что это? Он же не слушается! Не слушается!!! Бросать управление и катапультироваться? Кости за борт, пока есть время... Но ведь тогда угроблю самолет! Или иначе угроблюсь с ним сам! Катапультироваться? Ну нет! Тогда трусость будет грызть меня до могилы! Бог мой, да я уже лечу в нее, и на страшной скорости!»

Не слыша, держит ли со мной связь руководитель полетов, я переживал тогда, видимо, то же, что и в свои последние секунды жизни Андрюха. Обруч неразмыкаемого круга, в котором бушует, не в силах вырваться за его пределы, жизнь и который десятилетиями сжимается, постепенно приближая человека к смертному часу, но готов также лопнуть ежесекундно, внезапно, сдавил мой мозг, вытеснив из него все мысли, кроме единственной, заполнившей каждую клеточку тела: *«Неужели сейчас я умру?! Не хочу, не-е-е-т!!!»*

...Показалось или нет, что вращение замедлилось? Вращение замедлилось... Замедлилось вращение! Еще, еще...

«Так,— на этот раз гораздо спокойнее подумал я.— А теперь — резко педали в нейтральное положение...»

Самолет уже устойчиво пикировал, теряя высоту, а земля и небо заняли привычные места. Я дал «элке» обороты максимал, собираясь вывести ее из пике.

— 7-51-й, ниже 2500 не снижаться! 7-51-й, ниже 2500 не снижаться! — ворвалась в наушники близкая к истеричной команда руководителя полетов.

Я мгновенно взглянул на высотомер: 2600! А на 2500 — маршрутчик! О, боже! Сближуха! Самолет с ним прямо подо мной!

«Ручку управления на себя», — подумал я одновременно с движением...

И в каких-то десяти-пятнадцати метрах я пронесся перед маршрутчиком, пересекая ему путь под углом вправо. Мелькнула сбоку, за стеклом фонаря, голова Валерки Градова в защитном шлеме-горшке и кислородной маске-наморднике, и я разом представил себе лицо сокурсника: еще не успевшее исказиться от страха и удивления, но уже застывшее в непонятке (летчика-инструктора заметить не успел), и, просев еще ниже, я «горкой» ушел вверх, а в наушниках бился в крике голос руководителя полетов:

— 7-51-й, ниже 2500 не снижаться! 7-51-й, ниже 2500 не снижаться! Слышишь меня? Задание прекратить! Стать в левый вираж с креном в тридцать градусов, 2500 до команды...

— Выполняю, — наконец кое-как смог ответить я.

— 7-38-й, высота 1200, следовать на точку, посадка с ходу, — это уже касалось Валерки.

Набрав нужную высоту и став в левый вираж, я повел самолет по дуге. И тут же подумалось: так, выходит, я сам сделал то, что обещал и не сумел сделать Андрюха? То, на чем он зарвался и взорвался, да простит меня покойный за этот невольный каламбур... Что ж, репутацию свою я точно восстановил. Но... Теперь моя летная карьера, скорее всего, накрылась окончательно и бесповоротно: наводить погоду над головой некому... Тем более что в запрещенный «штопор» самолет я свалил уже после печального опыта Сказкина и всех последствий-разбирательств, связанных с его гибелью. И еще три жизни плюс две единицы дорогостоящей техники чуть было не угробил. «Три плюс два»... Только получился бы не комедийный фильм прошлого, а реальная трагедия настоящего. И прогремело бы тогда наше училище на все Вооруженные Силы. Оно, впрочем, и без того прогремело, но два случая подряд — ну, в этом была бы непременно усмотрена система. С дальнейшими оргвыводами.

— 7-51-й, — услышал я новую команду, — спираль до 2000, следуйте на точку 1500.

— Выполняю...

Заняв назначенную высоту и согласовав компас, я доложил — теперь уже совсем ровно:

— 7-51-й, четвертую освободил, иду на точку 1500.

— 7-51-й, займите к третьему развороту 600, посадка с ходу, — тоже спокойно приказал руководитель полетов.

— Выполняю...

Так, теперь ощериться — выпустить шасси...

Сама посадка получилась практически идеальной — у нас говорят: побрил травку. Когда освобождал взлетку, голос в наушниках пригласил:

— 7-51-й, с пленкой и командиром звена — немедленно ко мне. — И коротко-устало добавил: — Больше не летаешь...

Это знаменовало начало конца.

Когда я по рулежной дорожке докатил «элку» до стоянки и выключил двигатель, то почувствовал, что весь взмок, а колени дрожат, будто после капитальной драки. Довольно запоздалая реакция на стресс и вообще...

Техник самолета открыл фонарь кабины и, несколько удивленно глядя на меня — видимо, печать пережитого отложилась на лице, — принялся ставить защитные чеки на кресло (чтобы в случае чего не смогла сработать система катапультирования).

Освободившись от подвесной системы, я медленно вылез из кабины. Почувствовал под собой бетон аэродрома, и меня слегка шатнуло на столь родной сейчас земле. Вот оно, то самое особое состояние переутомления после пережитой в небе опасности, которое в летной среде нарекли трупопазузой (она бывает еще и при принятии большой дозы алкоголя).

Я снял кислородную маску, защитный шлем и шлемофон, потом расписался в бортовом журнале, сказал технику, что замечаний нет. И пошел навстречу «разбору полетов»...

Перед классом предполетных указаний стояли Валерка Градов и его дядька — летчик-инструктор старший лейтенант Зорин. Узкоплечий, как мальчишка-подросток, офицер — впрочем, имевший репутацию опытного летчика и нагрудный знак «За безаварийный налет» — орден Сутулова — злобно вперился в меня: еще бы, по милости какого-то идиота пережить смертный страх! Взора Градова я не видел: со-служивец отвернулся в сторону, насколько позволяли шейные позвонки.

Валеркин инструктор осторожно двинулся ко мне — бочком, агрессивно выпятив подбородок, но тут из класса выскочил мой кэз — командир звена. Опередив Зорина, капитан уцепил меня за грудки и яростно затряс, выплескивая в лицо:

— Ты что, с ума сошел? Смерти захотел? — И, видимо, не находя от возмущения дальнейших слов, резко оттолкнул, почти отбросил от себя.

Отшатнувшись назад, я еще пытался удержаться на ногах, но зацепился за выбеленный бордюр и растянулся на поблекшей восковой траве, растеряв все, что было в руках. Лежа и глядя на небо с появившимися на нем вдали слоечками — слоистыми облаками, глупо подумал: «Можно ли считать это рукоприкладством?»

Встав, хотел подобрать свою амуницию, но кэз отрывисто бросил:

— Оставь! — схватил, как пацана, меня за руку и потащил в класс, а мне было стыдно сказать, что хочется слить отстой — сходить по малой нужде.

Проскакивая мимо Градова, я попытался все же взглянуть ему в глаза, но теперь Валерка впился взглядом в пожухлую траву за алебастровым бордюром.

К классу предполетных указаний уже спешил солдат из ГОМОК (группа материалов объективного контроля) с кассетой САРППа, снятой с моей «элки».

* * *

Нудный рассказ о том, как меня таскали по всем инстанциям, опрашивая и допрашивая, опускаю. Что сорвал самолет в «штопор» нарочно, рассказал с глазу на глаз только в беседе с батей — начальником училища, хотя по расшифрованной кассете это и так было отлично видно.

— Причина? — коротко спросил генерал-майор авиации.

— Не верил в судьбу. Но хотел ее проверить: через летную подготовку, — признался я. И — гори оно все синим пламенем! — рассказал о споре в курилке.

Конечно, по сути, я предавал тогда остальных свидетелей пари, но одному быть козлом отпущения... Нет уж, позвольте, ВВС — страна чудес... Тем паче о попытке ночного самосуда умолчал.

Батя слушал мою исповедь, не перебивая и вертя в руках огромную восьмицветную авторучку, а когда я замолчал, неожиданно грохнул кулаком по толстому оргстеклу, покрывавшему полированный стол, так, что подпрыгнул перекидной календарь и стопка каких-то бумаг, а бронзовый «МиГ»-сувенир чуть не стартовал с постаменты.

— Мальчишка! И уже настолько нравственно глух! Моя бы воля — драл до костей! — И генерал-майор коротко выругался. А поостыв, добавил: — Что ж, случай с курсантом Сказкиным теперь вполне ясен. Но хотя летчик и не может быть паймальчиком, тебя все же придется отчислить.

Услышав эти страшные для меня слова, я одновременно прочел в генеральском взгляде искреннее сочувствие: летчика к летчику.

— Знаю,— обреченно кивнул я, заглушая боль обманутой надежды, до того еще теплившейся во мне: а заплучи-ка жесточайшее фейсом об тейбл, да по наждачке!

— Что ты знаешь? Что ты еще знаешь? — неожиданно вновь разбушевался батя.— Да на тебя государство уже такие деньги положило, а ты!.. За смерть товарища вины не осознал, себя и еще двоих, за компанию, едва не угробил! О летной технике вообще молчу!

И подытожил:

— Отслужишь год солдатом — пиши рапорт, возвращайся. Из тебя должен получиться толковый летчик.

— Хотелось бы, конечно,— пожал я плечами и поинтересовался: — Товарищ генерал-майор авиации, а... что теперь будет Градову и остальным?

— Разберемся! — отрубил начальника училища.— Тебя данное уже не касается.

Что ж, все было именно так, как оно и должно было быть...

Моя история подошла к концу. Это сейчас, по прошествии года, за который так много раз возвращался в мыслях к пережитому, я пытаюсь логично оценить ситуацию, которую спровоцировал сам, даже не приняв во внимание, как она отзовется на многих других людях... Тогда же, выходя из кабинета начальника училища, не удержался и, подзуживаемый острым внутренним желанием, задал вопрос:

— Товарищ генерал-майор авиации... А вот как вы сами считаете, есть на свете фатум или?..

Однако вместо какого-либо ответа, после короткой заминки, услышал:

— В эскадрилью!

Батя, по-видимому, был не любитель философских прений.



Анатолий Коновалов

(д. Хмелинец Елецкого района Липецкой области)



КРОШКИ ХЛЕБА

Родился в семье лесника 6 октября 1946 года в селе Становое Становлянского района Липецкой области. Учился в Елецком техникуме железнодорожного транспорта (промышленно-гражданское строительство), Елецком педагогическом институте (физмат), Высшей партийной школе при ЦК КПСС (политолог).

Член Союза российских писателей, Литературного фонда России, Международной ассоциации писателей и публицистов, избран действительным членом Петровской академии наук и искусств.

Автор 27 книг прозы и публицистики, учебных пособий для студентов факультетов журналистики вузов. Лауреат международных конкурсов «Белая скрижаль — 2011», «Белая скрижаль — 2012», «Новые писатели — 2012», «Большой финал 2013—2014», Всероссийского литературного конкурса «Чудетство» 2017 года, а также Липецких областных премий: литературной — имени Е. И. Замятина, журналистской — имени А. А. Вермишева. Почетный гражданин Становлянского района. Как писатель награжден медалью «Во славу Липецкой области».

1

Когда к его душе подкрадывалась ностальгия, Николай Александрович почему-то всегда вспоминал о хлебе. Наверное, о чем угодно пересыхает память, но только не о хлебе.

Ему недавно исполнилось восемьдесят. Его здоровье с каждым вздохом, с каждым днем не сказать, чтобы чадило, а нет-нет в области сердца вдруг болячка и зашевелится. И он уговорил-таки сына свозить его повидаться, а, может, не дай Бог, и попрощаться с родным селом, в которое после похорон матери, а потом и отца более двадцати лет не навещался.

— И что же ты ехал тут смотреть за пятьсот верст, пап? — не скрывал своего раздражения Матвей Николаевич.

Их встретила какая-то сонная глушь. Если бы появился в любой момент перед взором сына медведь или Баба Яга на метле, пятидесятилетний столичный ученый-филолог не удивился бы.

Отец промолчал.

Он с прищуром смотрел на погост.

Церковь будто выросла в землю, а на крыше одного из двух престолов росла береза, она кокетливо подставляла свои ветви-косы шаловливому ветерку. Вход в церковь охраняли полуоткрытые и рыжие от ржавчины, еще напоминающие о своей мощи, ворота, за ними долгое время хранилось святая святых крестьян — зерно. После за-

крытия церкви и образования в селе колхоза «Честный пахарь» бывший храм превратили в зерносклад. Вроде бы не поддавалась натиску времени колокольня. Шпилем без креста, который стащили с нее конными вожжами комсомольцы, когда Николай Александрович только появился на белый свет, она, казалось, устремлялась ввысь и расчесывала низко плывущие облака. С нее в тридцатые годы скинули и колокола, теперь из ее пустых глазниц излучались тоска и укор.

Кладбище издали казалось заросшим густым кустарником, виднелись высоченные деревья, с вершук которых вездесущие сороки громким стрекотом распугивали тишину.

— Господи, и это было когда-то большим погостом,— тихо произнес Николай Александрович, словно простонал.

— Ты что-то сказал, пап? — спросил его сын, который думал только об одном: как бы быстрее отсюда уехать обратно в столицу.

Немного помедлив, отец, продолжая смотреть то на церковь, то на кладбище, поинтересовался:

— А ты, Матвей, знаешь, что раньше называлось у русских людей погостом?

Тот удивился:

— Нашел о чем спрашивать?

— Это не ответ ученого-филолога...

У сына продолжало пениться недовольство от того, что отец заставил его свой выходной день портить, ехать за пять сотен километров, завез неизвестно куда и зачем. Так сложилось, что он в родном селе отца был мальчишкой, когда еще в школу не ходил. Решил все же ответить:

— Последнее пристанище людей, если тебе угодно...

— Верно, только частично...

— Не понял?! — уставился сын на отца.

Тот спокойно просвещал Матвея Николаевича:

— Погостом начали называть отдельно стоящую церковь с кладбищем только в восемнадцатом веке. А намного раньше так обозначали центр сельской общины, потому крупное селение с церковью и кладбищем. И наше село когда-то более трехсот крестьянских дворов насчитывало. А теперь вот... — последние слова он произнес с заметной дрожью в голосе.

О том, что тут был населенный пункт, напоминали одичалые и одинокие яблони и груши, заросли крапивы и репейника там, где, как помнил Николай Александрович, раньше стояли дома, цвели сады, запахивались огороды.

И в этот миг он неожиданно вспомнил слова отца. А услышал их в конце семидесятих годов. Он только что защитил диссертацию, стал кандидатом сельскохозяйственных наук и приехал разделить эту радость-победу со своими родителями. Но, когда новоиспеченный ученый, обещавший отцу горы свернуть в почвоведении, уезжал из родного села, тот попросил его:

— Ты уж поднатужься, поторопись, сынок, на своих горах-то ученых, сделай что-либо для нашего села, а то жизнь сметет нас, стариков, вот с этой земельки, как засохшие крошки хлеба со стола...

«Крошки хлеба... Крошки хлеба... — защемило в его душе.— А ведь и это когда-то было...»

2

Память воскресила то утро, когда ему пришлось покинуть родной дом.

...Он даже не догадывался, что его мать всю ночь ни на миг глаза не сомкнула. Дрема к ней подкрадывалась, куда же от нее, ласковой, увернешься, да только не ту

она обихаживала. Если бы Екатерина Николаевна ей поддалась, во сне утонула, когда бы успела сыночка в путь-дорожку собрать? То-то.

А так носочки, что поновее, в небольшом чемодане бережно пригладила, другие же заштопала — от новых не отличишь, их Коля пусть и наденет. Не на босу же ногу в белых парусиновых туфлях ему аж до самой Москвы добираться. До каждого рубчика просмотрела две рубашки. Ну и пусть, что не новые. Где ж их новые-то взять?

Но больше всего ее беспокоило то, как семнадцатилетний сын, кости и кожа, к тому же и росточком не вышел, на голодный желудок до далекой столицы доедет? В их же семье из съестных запасов — хоть шаром покати. По весне вокруг дома молодые побеги крапивы на суп рвали. Да и какой это суп — название одно, мутно-зеленая жижа, забеленная молоком. Но все равно ведь в животе не пусто. А потом корни лопухов, щавель, ягоды за милую душу и взрослые, и дети уплетали. Год-то сорок седьмой, голодный, еще до уборочной страды не дотянул, потому хлебом без исключения все односельчане досыта наедались только в сновидениях. Но по крестьянской мудрости выживания на самый смоляной из всех черных дней в уголку дальнего сусека килограмм-другой зерна или муки притаивался. Жизнь-то на всякие неожиданности горазда.

Екатерине Николаевне пришлось ржаную муку до последней пылинки из небольшого рундука вымести. Перемешала ту муку с мелко нашинкованными молодыми побегами лебеды и испекла ковригу хлеба, которую без труда можно было пригоршней накрыть. И теперь она остывала на столе под рушником. Всю ее Коленке в дорогу отдать? Она эту ковригу глазами и так и эдак бессчетное количество раз измерила, а решение задачки все равно у нее с ответом не сходилось. Двое других сыновей и младшая дочка не раз от голода в обморок падали. Да и им с мужем, настолько исхудавшим за зиму, ветер пробует подножку подставить.

Ах, как же долго и заворожено она смотрела на хлеб! Даже не заметила, как сын глаза разлепил.

Коля с вечера тоже долго заснуть не мог. Его пугала неизвестность. Как его встретит Москва? Как он отыщет университет, в котором есть биолого-почвенный факультет? Сдаст ли вступительные экзамены? Но то, что он будет изучать почвы России, как Докучаев, другую мысль даже близко к голове не подпускал. Коля многое прочитал о Василии Васильевиче, о его трудах, о взаимодействии элементов "живой" и "мертвой" природы, о его научной экспедиции по просторам страны. И еще в восьмом классе загорелся идеей — обязательно составить почвенную карту полей вокруг родного села. Зачем? А чтобы было можно зерна много — премного вырастить и собрать, маму с папой, братьев и сестренку, конечно, и односельчан накормить досыта пшеничным хлебом с золотистой корочкой и духмяным запахом, от которого голова у всех закружится, и радость с лиц людей никаким ливнем смыть не удастся...

Но сон все же уложил его на лопатки.

А когда проснулся, то первым делом в голове мелькнула мысль, что надо быстрее встать и топтать, насколько духу хватит, на железнодорожную станцию километров за семь, чтобы на поезд не опоздать. Но из-под теплого старенького одеяла, которое его так нежно обнимало, ему выползть не хотелось.

Увидел мать, которая хлопотала возле стола, что-то укладывала в чемоданчик, с которым отец с фронта возвратился. Не ускользнуло от взгляда сына, как она, отрезав не больше четвертушки от ковриги, сунула ее вновь под рушник, а остальной хлеб замотала в тряпицу и тоже положила в чемодан. Затем, подставив левую ладошку к краю стола, правой ладошкой начала сгребать невидимые крошки хлеба со стола. А потом медленно-медленно поднесла левую ладошку к своему рту и что-то невидимое в него высыпала.

Потом подошла к русской печи, на которой спали дети.

— Коля, пора вставать,— тихо сказала мать, притронувшись теплой рукой к плечу старшего сына, чтобы не разбудить остальных детей, которые лежали с ним бок о бок.

Ему было стыдно, что он подсматривал за матерью, потому притворился спящим. Екатерина Николаевна повторила:

— Сынок, просыпайся,— ее шершавая от постоянной и трудной работы ладонь нежно гладила плечо Коли.

Он открыл глаза, полные тоски. Ему вдруг расхотелось ехать в университет. Коля же во всех делах был помощником отцу и матери, когда надо было управляться с делами на огороде или по дому.

«Как же они тут без меня будут жить? А как я без них? — вонзался в его сознание один вопрос острее и тревожнее другого.— У мамы под глазами черные круги, скоро будет, как тростинка поздней осенью... Мне в чемодан хлеб положила, а сама...».

— А может, мам, мне не ехать никуда?

Мать встрепенулась:

— Ты что выдумал?! Мы с отцом всю жизнь неучами прожили, ты хоть в люди выбейся. Школу-то с одними пятерками выдюжил. Что ж тебе с такой головой в деревне-то пропадать? Ишь, чего отчебучил. Не поедет он... Вот пойду отца покличу, он тебе мигом мозги проветрит...

— Мам, я без вас, без ребят скучать, знаешь, как буду? — сын обнял засуетившуюся мать.

Екатерина Николаевна, проглотив соленый ком, постаралась принять строгий вид.

— Ты нам тут нюни не распускай. Поезд, поди, ждать тебя не собирается. Иди лицо освежи, да одевайся. Я тебя уже в дорожку собрала,— и направилась к входной двери.— Пойду только со двора отца кликну. На дорожку вместе присядем. На счастье...

И мать скрылась за дверью.

Николай быстро открыл чемодан. Размотал тряпицу с куском хлеба. Над крышкой стола отломил от краюшки почти половину. Одну часть подсунул под рушник, а другую спешно вновь спеленал тряпицей и положил на прежнее место в чемодане. Прикрыв чемодан, подошел к столу. Как и мать несколько минут назад, подставил к краю стола левую ладонь, а правой ладонью смел несколько крошек, которые упали на стол при разломе хлеба. Их он осторожно отправил в рот, почувствовал запах вкусного-превкусного хлеба.

Только после этого, как ни в чем не бывало, подошел к ведру с водой и начал умываться...

3

Видимо, атмосфера на погосте располагала к тому, что еще один ручеек памяти прорвался из прошлого к Николаю Александровичу.

...Тот разговор с отцом состоялся в один из его приездов в родное село, после того, как он удивился, что в их селе уж очень много домов с крест—накрест заколоченными досками окнами и дверьми. Пройдя по улице своего детства, кроме стариков, почти никого из своих сверстников, которые не уехали из села, как он после школы свою птицу счастья в неведомых краях отлавливать, а остались в колхозе землю пахать да скот выращивать, не встретил.

— Ты вот спрашиваешь, куда народ подевался? — спросил задумчиво отец.

— Странно ведь...

— Что ж тут странного? — лицо его было суровым и серым.— Многие наши с матерью ровеснички трудовые горбы на кладбище выправляют. А те, что с весенними годками, с силенкой в руках, переселились, досками окна своих хат расшили,— отец вздохнул так, словно тяжеленную ношу нес и передохнуть решил.

— В город, что ли?

— Кое-кого и городская жизнь прельстила. А трудяги, что ж они там забыли? В чистом поле поселок им новый выстроили. Видишь ли, комплекс там какой-то животноводческий со всеми механизмами учудили.

— Что ж тут плохого, если люди к хорошей, благоустроенной жизни потянулись, вместо вил и лопат им теперь машины трудиться помогают?

Но отец, Александр Андреевич, с ответом не спешил. Спросил неожиданно:

— Ты курить-то не начал?

— Бог миловал, а почему тебя это волнует?

— Хотел вот на старости лет закурить. На фронте и то не привык. А теперь...

Сын забеспокоился: «Не заболел ли он? Задумчивый какой-то...».

— Что-то ты, батя, темнишь. Рассказывай...

Вновь тягостное молчание. Только глазами сына обмеряет. И тихо, словно жалея о чем-то, заговорил:

— Вы, дети мои, образование получили, и все реже вас, выходит, в родные просторы манит. А мои внуки вряд ли будут знать, что такое соха и сколько фунтов лиха надо на фунт хлеба затратить. Хорошо это или так себе — умом не доварю. Ты вот, сын крестьянский, в науку ударился. Только толку-то что от твоих головоломок?

— Не понял?

— Что же тут понимать, Коль? Сколько себя помню, сынок, столько и надеюсь, что жить лучше буду. И такой я не один. Все! А жизнь незаметно фьют — пулей хвост показала. Моих соседей судьба из села метлой вымела. Для некоторых жирную точку на жизни крестом могильным поставила. И хоть ты меня убей, я до смысла жизни так и не могу докумекать. Может ты, теперь вон какой ученый, мне, старому дураку, который в свое время только читать и с горем пополам писать научился, объяснишь, в чем он — тот самый смысл-то жизни — заключается?

«Что отцу ответить?» — ничего вразумительного вот так сразу на ум сыну не приходило. Вспомнил высказывание какого-то американского, кажется, писателя:

— Мы бы, пап, никогда не умерли, если бы знали, как жить ...

— Потому и отстраняемся от родников жизни?

— Почему же?..

— А то ты не знаешь? Вот ты там в своей Москве мозги, считай, вывихнул. А что же это ты и твои друзья по институту от нужд села, как от проказы, в сторону шарачаетесь? Почему на его разорение глаза зашторили?

— Вот тут ты, пап, не прав. Я занимаюсь гидрофизикой и мелиорацией почв, кандидатскую диссертацию по этой проблеме защитил...

— Я не знаю, что ты там защитил,— перебил его отец,— только корни наши крестьянские, видно, никто защищать не собирается. Мы немислимую победу над фрицами добыли, считай, без войны двадцать пять лет, слава Богу, живем, а ни самих, ни детей накормить досыта, обушь, одеть по—человечески не получается, хотя редко спина от пота высыхает. Сомневаюсь, что в скором времени судьба оглобли в другую сторону развернет. Тогда ради чего, сынок, мы воевали, если в селе хлеб теперь выращивать некому? А ведь без хлебушка нашего мы бы немца не одолели. Вот те крест! А вы, ученые, кинулись за тридевять земель в степи целину какую-то там тревожить. А чернозем, в который ветку ткни — дерево обязательно вырастет, на произвол судьбы бросили. А нас-то вот тут кто с колен из трясины жизни поднимет?

— Что ж ты, пап, одними загадками со мной разговариваешь?

— Какие же, милый, загадки? — складывалось у сына впечатление, что отец ему старается все наиболее в его душе в один миг выплеснуть, больше-то некому. Неожиданно спросил: — Ты Ивана Чертана помнишь?

— Конечно, знаю. Он же метра под два ростом и плечи у него, что стена хорошая.

— Умер недавно.

— Как?

— Руки со свечкой на груди сложил, как скоро и нам с матерью черед приспичит. Мне-то не пришлось, а ему с учеными вроде тебя столкнуться довелось.

Отец замолчал, вроде бы память в своей голове перелистывал и нужную страницу искал. Собрался с духом.

— Так вот. Тогда страной еще Хрушев верховодил. Поля, как ты знаешь, у нас жирные, хоть на ломти землю режь и на хлеб мажь. А урожай — кот наплакал. То по весне заморозки посева изранят, то летом засуха на корню колосья подпалит. В тот же год Бог на дожди расщедрился. И после посевов поля хорошенько окропил, и летом заставил небо не жадничать. Хлеба стеной стояли, в рост человека. Да! И вновь незадача! Считай, перед самой уборкой ливни с градом так посева к земле прибили, что убраться хлебушек небывалый у комбайнов оказалась кишка тонка.

Александр Андреевич удобнее уселся на лавочке. Морщинки на его лице вроде бы чуть отутюжились, в глазах лукавый блеск о себе знать дал.

— А в колхоз из самых высоких кабинетов одна депеша старается другую обогнать. Мол, хоть костями ложитесь, а чтобы все до зернышка собрали, иначе... Сам понимаешь, народ еще от сталинских порядков память с себя не стряхнул. И вот тот самый Чертан возьми и на колхозном сходе брякни: «А что если нам дедовский метод от паутины освободить? Как насчет этого, мужики, мозгуете?»

А на сходке совсем еще безусый инструктор райкома партии присутствовал. Без них, глазастых и ушастых, ни одна страда тогда не обходилась.

«Какой такой метод?» — вопрос струной натянул.

Иван пробасил:

«Наши деды хлеба крюками косили».

Мы, что постарше, тоже те крюки помнили, но давно их никто в руки не брал, да и вряд ли они в наших сараях своего времени ждали.

«Какие такие крюки?» — инструктор уж очень любопытным оказался.

Чертан объяснил ему, заодно и мы о них вспомнили, что это те же косы, только со специальным приспособлением, в народе их крюком окрестили.

«А что? Следует попробовать», — загорелся представитель партийной власти.

И первым это сделал Иван. Получилось. Правда, как он весело зубоскалил:

«Ребро за ребро заходит у меня от этой непыльной работенки».

Но выхода-то другого тогда так и не нащупали. И что ты думаешь, Коль, про удаль Чертана на всю округу по радио и в газетах протрубили. И каким-то путем слухок и до Хрущева, сказывают, доплыл, как бывало до нас, пацанов, моментально добирался душок подхотившего хлеба в печи, и от того запаха во рту слюни клубились. Никита Сергеевич возьми и примчись с многочисленной свитой чиновников и твоих собратьев-ученых на Иванову косьбу полюбостествовать.

Посмотрел-посмотрел важный гость, как Иван с полеглыми хлебами управляется, и говорит:

«Молодец, богатырь! — и по-простецки так по плечу его похлопал, а потом неожиданно добавил: — Косишь ты — любо смотреть! Только вот в обратную сторону впустую размахиваешь, — и к ученым голову повернул, взглядом их обжег. — А вы подумайте без проволочек, как Ивану помочь вхолостую силы не расхोждать».

Те думали, наверное, так, что курьерский поезд за их мыслями не угнал бы. Чуть ли не на следующий день привезли Чертану приспособление, да такое, что он влево хлебушек сбивает, ряд словно по ниточке укладывает, вправо — та же картина вырисовывается. Отрапортовали об этом Никите Сергеевичу. Тот тут как тут вереницей автомашин полевою дорожку в сплошную пыль превратил. Хрущев, сказывают, остался доволен и учеными, а уж Иваном-то как. Но на то он и Хрущев, чтобы светлые идеи в его разуме никогда до дна не выкипали.

«А нельзя ли,— обратился к ученым,— придумать такое, чтобы Иван и влево косил, и вправо, да еще как-то и сам рядки подбирал? Не вам же мне объяснять, что на селе рабочих мужских рук после войны позарез не хватает...»

А вам, ученым, видно, только подкинь идейку, да еще от самого Никиты Сергеевича. И они ее чуть ли не на второй день разжевали, что тебе кашу манную. Обрядили Ивана специальным поясом, к которому пристегнули грабли наподобие конных. Наш Чертан косит так, что по обеим сторонам рядки не успеют золотом колосьев порадовать, он тут же их за собой подгребает. Загляденье!

Но вдруг увидел Чертан, что дорога густой пылью набухла, а по ней «Волга» словно по воздуху парит. Отбросил он в сторонку крюк, отстегнул с молниеносной быстротой пояс с граблями и, что было духу, бросился бежать от непрошенных гостей. Про таких в народе балакают, что они намного хуже татар.

У местных чиновников, сказывали, душа к пяткам змейкой юркнула. Явно непростительный казус с их стороны чирьем вызрел: как это мог крестьянин самому Хрущеву спину показать? Он ведь, Никита Сергеевич-то, денно и ночью глаз не смыкает, о его, Иванове, и благе миллионов людей заботится. И такая выходит ему неблагодарность? Ох, не сносить областным руководителям головы, что не могли хозяину страны встречу с замечательным представителем нашего крестьянства на высшем уровне обстряпать.

Сказывают, на двух машинах еле смогли Ивана догнать. Доставили его запыхавшегося. Рубаху на нем от пота хоть выжимай. Глаза на Хрущева не поднимает, будто вздумал ими и землю перепаживать, конечно, сразу же после косьбы.

На широком и мясистом лице Никиты Сергеевича улыбка расплылась, что тебе масло на раскаленной сковородке.

«Мы тебе, Иван Петрович, за твою ударную работу именные часы привезли. А ты от нас бежать надумал. Почему?»

Чертан не успел еще отдышаться. Но после слов Хрущева с облегчением чуть ли легкие на улицу не выдохнул. А на язык он всегда острее опасной бритвы был.

«Так я же, грешным делом, Никита Сергеевич, подумал, что ваши ученые мне еще и на хрен стогометатель приспособить собираются...».

Вот такой, сынок, у нас случай приключился...

Николай Александрович все время, пока отец рассказ искусно сплетал, как умел сплести для домашних нужд корзины из ивовых прутьев, улыбку спрятать так и не смог, как ни пытался.

— Ох, и мастер ты, батя, на анекдоты.

С лица отца улыбка почему-то быстро испарилась.

— Как хочешь, так и понимай. Но вот что я умом своим прикидываю. От такой власти, как хрущевская, и таких ученых, которые в рот своим начальникам чуть ли не до самого ливера заглядывают, проку, попомни меня, дурака старого, мало будет,— вздохнул глубоко и вроде бы обреченно.

— Ну, это ты, пап, зря так думаешь. По-твоему партия и правительство народу один вред чинят?

— Понимай, дорогой, как твоей голове угодно. Только просьба у меня к тебе вызрела,— спросил настороженно: — Ты же у нас надолго не удержишься?

— Да, денечка два, от силы три побуду.
— Так вот. Ты уж поднатужься, поторопись, сынок, сделай что-либо для нашего села, а то жизнь сметет нас, стариков, вот с этой земельки, как засохшие крошки хлеба со стола...

4

— Матвей, достань из багажника хлеб.
— Проголодался? Я и сам подумал, что перекусить пора перед обратной дорогой. Николай Александрович, думая о чем-то своем, попросил:
— Возьми только ржаной хлеб.
— Но я его не покупал.
— Я купил и в багажник положил.
— Пап, но у меня для обеда французская булка припасена.
— Потом, потом... Ты хлеб-то мой достань...
Сын, удивленный странным поведением и не менее странной просьбой отца, направился к машине. Вдогонку услышал:
— Я потихоньку пойду, а у тебя ноги молодые — догонишь...
Сын в замешательстве остановился, обернулся.
— Что ты еще надумал, пап?
— Хочу маму с папой проведать. Затем сюда и добирались...

От церкви до кладбища было не более ста метров. И пока преодолевал их, подумал о своей прожитой жизни, судьбе родителей. Отец до самой смерти, наверное, так и не понял, зачем он на эту землю приходил.

«А моей жизни смысл, кстати, в чем? Всего вроде бы я добился. Доктором наук стал. Не последнее мое слово в российской гидрофизике почв. Сын и дочь — ученые. Квартира чуть ли не в самом центре Москвы. И что? Почему от моих родовых корней только заброшенный погост остался? Жили без смысла?..»

Перед тем как зайти на кладбище, у входных ворот трижды перекрестился, хотя верующим себя никогда не считал.

Но кладбище его удивило. Не такое уж оно оказалось запущенным. Многие ограды вокруг могил выкрашены. Внутри оградные площадки очищены от сорной растительности. Значит, родственники не забывают о тех, кто тут нашел вечный покой после самого трудного человеческого испытания на прочность — жизни.

Он боялся, что заблудится среди оградок, могил, крестов, которые появились на кладбище за те годы, в которые ни он, ни братья с сестрой по различным причинам не смогли приехать на поклон к родителям. Но еще большую тревогу в его душе вызывала мысль, что могилы отца и матери затерялись в сорняках, диких кустарниках.

Глазам своим не поверил, когда увидел последнее пристанище родителей в полном порядке. Он же не знал, что школьники райцентра взяли шефство над могилами фронтовиков, и каждый год ухаживали за ними. А его отец был кавалером двух солдатских орденов Славы, многих медалей, которые теперь хранятся в школьном музее боевой славы.

И еще была одна причина, почему школьники не дали осиротеть на несколько лет могилам его родителей. Николай Александрович был выпускником той школы, ее гордостью, ведь его имя ученого-почвоведов знали хорошо не только в России, но и в других странах.

— Простите меня, папа и мама, что я... — дальше он ничего сказать не смог, слезы самопроизвольно залили его лицо.

Николай Александрович опустил на скамеечку, которую тоже сделали школьники.

Подошедший сын заволновался:

— Тебе плохо, пап?

Отец только кивнул головой.

— Я минеральную воду принес, попей.

Николай Александрович дрожащим голосом спросил:

— Ты хлеб принес?

— Конечно, конечно,— засуетился Матвей Николаевич.

— Дай мне его...

Когда хлеб оказался в руках Николая Александровича, он начал крошить его на мелкие-мелкие кусочки и с какою-то осторожностью густо сыпать то на могилку отца, то на могилку матери. Неожиданно его сознание яркая вспышка осветила. Он еле слышно для сына произнес:

— А вообще-то, пап, до меня, кажется, только сейчас дошло, в чем смысл жизни заключается. Надо жить так, чтобы ничего под рушник прятать не приходилось и голод хоть как-то утолять крошками хлеба со стола, себя засохшими крошками в этой жизни не чувствовать. Как, спрашиваете? Вы же никогда не сидели сложа руки, обязательно что-либо делали. Мне вот восемьдесят, а я, наверное, и половины не сделал того, что задумал, карту почв вокруг родного села так пока и не составил. А вдруг оно еще возродится?..

— Что, пап, ты сказал? — вновь забеспокоился сын: отец, как ему показалось, вроде бы заговариваться начал.

— Я, Матвей, сказал то, что в свое время отцу ответить не смог. А папа с мамой подсказали мне сейчас, чтобы я никогда на этом свете аппетит на хлеб и жизнь не терял,— помолчал и добавил: — Вот это и тебе завещаю. Ты меня понял?..

Матвей Николаевич, не перестающий удивляться поведению и словам отца, только вздернул плечами: «И что я понять должен? Да, отец, видно, плохи твои дела...».

А Николай Александрович оторвал взгляд от могилки и устремил его в бездонную голубизну неба, туда, откуда на него и сына, как он надеялся, смотрят родители. Может, это они посылают им солнечные лучи, подогретые их лаской и заботой?..

